

ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГОД ИЗДАНИЯ ЧЕТВЕРТЫЙ

№ 6

ИЮНЬ 1949

Редакционная коллегия: акад. Л. С. Берг, проф. Л. Л. Васильев, з. д. н. проф. А. В. Венедиктов, проф. Л. Э. Гуревич, доц. А. Г. Дементьев, чл.-корр. АН СССР проф. В. А. Догель, проф. Н. А. Домнин, доц. Г. В. Ефимов, проф. Н. П. Еругин, проф. В. М. Кадачигов, проф. С. В. Калесник, проф. С. И. Ковалев (зам. редактора), акад. И. Ю. Крачковский, проф. С. С. Кузнецов (зам. редактора), проф. В. В. Мавродин (зам. редактора), проф. А. И. Молок, проф. Н. В. Турбин, проф. В. В. Шаронов, проф. С. А. Шукарев.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
УНИВЕРСИТЕТА *им. А. А. ЖДАНОВА*
ЛЕНИНГРАД
1 9 4 9

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.		Стр.
Статьи			
Предисловие	3	Студ. <i>Г. Хаупт</i> . Пушкин и венгерская литература XIX в.	102
Чл.-корр. АН СССР <i>Н. К. Пиксанов</i> . Пушкин и народ	5	Проф. <i>П. Н. Берков</i> . Пушкин и Петербургский университет	121
Проф. <i>Н. И. Мордовченко</i> . Национальное значение Пушкина	14	Краткие сообщения	
Проф. <i>Р. А. Будагов</i> . Пушкин-лингвист (к постановке вопроса)	24	Чл.-корр. АН СССР <i>М. П. Алексеев</i> . Письмо Пушкина к Джорджу Борро	133
Проф. <i>Н. П. Степанов</i> . Пушкин и Север	35	Проф. <i>П. Н. Берков</i> . Заметка к биографии А. С. Пушкина (Пушкин в Аккермане)	140
Канд. филол. наук <i>К. Н. Григорьян</i> . Пушкин и армянская поэзия	46	<i>Т. А. Карпенко</i> . Юбилейная выставка изданий Пушкина на языках народов СССР	145
Асп. <i>Э. А. Ахметов</i> . Пушкин и Абай	60		
Асп. <i>Н. О. Шаракишнова</i> . О переводах Пушкина на монгольский язык	71		
Канд. филол. наук <i>А. Э. Розенфельд</i> . А. С. Пушкин в персидских переводах	81		

ПРЕДИСЛОВИЕ

В июне 1949 года весь Советский Союз, страны народной демократии, все передовое человечество торжественно отметили стопятидесятую годовщину со дня рождения великого русского поэта — Александра Сергеевича Пушкина.

Сто пятьдесят лет прошло со дня его рождения и сто двенадцать лет со дня безвременной кончины, но Пушкин жив и слово его звучит в наши дни с особенной силой. Лишь с победой Великой Октябрьской социалистической революции настала та пора, о которой мечтал и которую пророчески предвидел Пушкин:

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык».

Народы Советского Союза знают и любят многогранное, яркое и самобытное национальное творчество Пушкина, чтут гениального русского поэта, создателя русского литературного языка, основоположника новой русской литературы.

Нам, людям Советской страны, строящим коммунизм, людям Сталинской эпохи, близок и дорог Пушкин — смелый певец свободы, защитник народа, горячий патриот и правдолюбец.

Жизнеутверждающая поэзия Пушкина служит сейчас, в наши дни и в нашей стране, делу подлинной человечности.

Великий русский национальный поэт Пушкин обращал свое творчество, и к грузинам, и к башкирам, и к финнам, и к тунгусам, ко всем народам нашей отчизны.

Изобличая английский капитализм с его «холодным варварством» и американскую демократию с ее «жестокими предрассудками» и «нестерпимым тиранством», Пушкин решительно становился на защиту английских рабочих, американских негров, людей труда.

Творчество Пушкина заслужило высокую оценку со стороны Маркса и Энгельса.

Говоря о писателях, которых читал Владимир Ильич Ленин, Н. К. Крупская указывает: «Больше всего он любил Пушкина».

В своем историческом докладе о XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1941 г. Иосиф Виссарионович Сталин, говоря о великой русской нации, среди имен, которыми по праву гордится наш народ, назвал имя Александра Сергеевича Пушкина.

Вместе со всей страной Ленинградский университет широко и торжественно отметил стопятидесятую годовщину со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.

Торжества начались открытым заседанием Ученого совета университета в большом Актовом зале. После речи чл.-корр. АН СССР, проф. Н. К. Пиксанова «Пушкин и народ» состоялся большой концерт. В по-

следующие дни в Актовом зале Филологического факультета были проведены «Пушкинские чтения» — доклады о Пушкине, читанные профессорами, преподавателями и аспирантами четырех факультетов университета: филологического, исторического, восточного и северного. Тогда же для обозрения присутствующих была открыта выставка «Пушкин на языках народов СССР 1937—1949», организованная университетской Научной библиотекой им. А. М. Горького и ее филиалами. Торжественные заседания, лекции и доклады о Пушкине состоялись также на отдельных факультетах университета для широкой массы студенчества, служащих, технических работников, в Студенческом научном обществе и т. д.

Во всех этих многочисленных докладах (в особенности в тех, которые объединены были в юбилейный цикл «пушкинских чтений») широко освещено было национальное значение Пушкина, подвергались анализу его исторические и лингвистические воззрения, отношение к его творчеству народов Советского Союза и некоторых зарубежных стран.

В ряде докладов, читанных научными работниками университета самых различных специальностей, приведено было немало новых данных и соображений, представляющих несомненный интерес как для изучения биографии и творчества Пушкина, так и для истории восприятия его наследия в нашей стране и за рубежом. Отсюда возникла мысль — ознаменовать пушкинский юбилей 1949 г. выпуском специального номера университетского журнала, в котором были бы опубликованы, в первую очередь, некоторые из речей и докладов, читанных в Ленинградском университете в юбилейные дни. Вместе с тем редакция «Вестника» сочла возможным присоединить к ним также и несколько кратких сообщений, в которых приводятся новые данные о Пушкине или освещаются более частные вопросы пушкиноведения; таковы в данном издании: затерявшееся письмо Пушкина с комментариями к нему, заметки к биографии поэта, история взаимоотношений Пушкина и Петербургского университета и др.

В организации и выпуске в свет настоящего номера «Вестника» близкое участие принимал Филологический научно-исследовательский институт Ленинградского университета.

СТАТЬИ

Чл.-корр. АН СССР Н. К. Пиксанов

ПУШКИН И НАРОД

I

Когда Лев Толстой хотел определить положение, откуда он наблюдал и осмыслял жизнь, он сказал: «Я смотрю снизу, от 100 миллионов». Снизу, от ста миллионов, это значит — от трудового народа.

Дума о народе одушевляла писательский подвиг Радищева в XVIII в. В 1841 г. Белинский писал: «Высочайшая похвала, какой только может в наши дни удостоиться поэт, самый громкий титул, каким только могут почтить его современники или потомки, состоит в слове: «народный поэт». Позднее Тургенев добавил: «Вне народности нет ни художества, ни истины, ни жизни — ничего нет».

Так следует нам понимать и Пушкина, великого народного поэта. Грандиозно, необозримо творчество Пушкина. Богатства его образов, идей, настроений, картин таковы, что могут подавлять читателя, могут закрывать от него первооснову, перводвижитель пушкинского мировоззрения и искусства.

Но первооснова именно такова: народ, народность.

Ведь, именно о народе думал Пушкин, когда, близко к смерти, подводил итоги своему творчеству:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.

Поэт услаждал себя надеждой, что вся великая многонародная и многоязычная Русь будет знать и называть его.

В заслугу себе поэт ставил:

И долго буду тем любезен я народу;
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу...

Еще на заре своей светлой юности Пушкин был охвачен мыслями о народе. Ведь это было время Отечественной войны 1812—1815 гг. Мимо Лицея тогда проходили войска, отправляясь на войну; Пушкин сам мечтал вступить в ряды воинов, чему, разумеется, препятствовал юношеский возраст.

Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас.

Он с патриотическим восторгом наблюдал, как

России двинулись сыны,
Восстал и стар и млад;

Летят на дерзновенных,
Сердца их мщением зажжены.
...Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья.
(«Воспоминания в Царском Селе», 1834.)

Перед юным, но чутким сознанием поэта постепенно раскрывался глубокий смысл Двенадцатого года: величие патриотического подвига русского народа, крепостного крестьянства, освобождающего родину от наполеоновского нашествия, отстаивающего свободу и независимость страны.

Позднее смысл народного подвига раскрылся еще глубже. В 1831 г. Пушкин указал «клеветникам России» не только на то, что

На развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы —

т. е. Наполеона, но также и то, что

...в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир,
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир...

Пушкин никогда не забывал, что именно русский народ был освободителем Европы от наполеоновской тирании, что его самоотверженная и победоносная борьба содействовала народно-освободительным движениям на Западе в позднейшие годы.

От преклонения перед народным подвигом Двенадцатого года идут горячие думы Пушкина о родном народе, о народном благе, о долге перед народом, о борьбе с врагами народной свободы. Пушкин пронес эти думы через всю жизнь. Понятие свободы стало раскрываться перед ним в тройственном своем значении: национальном, политическом и социальном. С неотвратимостью возникал вывод: народ, освободивший от внешнего врага родину, требует освобождения от крепостного рабства.

Но следом за тем раскрылась другая связь: уничтожение крепостного права немисливо без уничтожения самодержавия. В 1822 г. Пушкин писал: «Политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян».

Отсюда вырастает, еще в лицейские годы, ненависть к царизму, острый интерес к истории французской революции, культ гражданской свободы, надежды на насильственный политический переворот.

Только глубоким влиянием народно-освободительной войны 1812 г. объясняется социально-политическая зрелость гражданской лирики Пушкина-лицеиста. В 1815 г. шестнадцатилетний юноша создает изумительное стихотворение-памфлет «Лицинию», которым на целых пять лет опережает прославленное стихотворение Рыльева «Временщику» (1820). Как и Рылеев, Пушкин обличает временщика, но вместе с тем дает сатирическое изображение раболепствующей перед ним столицы.

Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят;
Как ликторов полки народ несчастный гонят.
Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд
С покорностью ему умильный мещут взгляд;
Ждут в тайном трепете улыбку, глаз движенья,
Как будто дивного богов благословенья...

И юноша-поэт обращается с гневным укором к римскому обществу и народу, имея в виду русское общество, которое не могло быть названо собственным именем по цензурным соображениям:

О Ромулов народ! пред кем ты пал во прах?
Пред кем восчувствовал в душе столь низкий страх?

Так перед социально-политическим сознанием юного поэта-гражданина вырастает проблема взаимоотношений между властью и народом. Она будет поставлена во всей остроте через десять лет, в трагедии «Борис Годунов». А в десятилетие перед этим вместились многие наблюдения Пушкина над жизнью русского народа, размышления о нем и возникающие отсюда художественные образы.

Какой напряженной была эта работа, обнаруживается в знаменитом стихотворении 1819 г. «Деревня». Сколько бы раз мы ни перечитывали его, никогда не перестанет поражать сила изображений и чувств, вложенных в эти строки:

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
 Среди цветущих нив и гор
 Друг человечества печально замечает
 Везде невежества убийственный позор.
 Не видя слез, не внемля стона,
 На пагубу людей избранное судьбой,
 Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
 Присвоило себе насильственной лозой
 И труд, и собственность, и время земледельца.
 Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
 Здесь рабство тощее влачится по браздам
 Неумолимого владельца.

2

Мысли о «рабстве тощем» тем ужаснее для поэта, что он знает во всей полноте, сколько высоких достоинств ума, сердца, воли таит в себе народ. Нельзя без волнения читать обращение поэта к крепостной няне:

Подруга дней моих суровых,
 Голубка дряхлая моя!
 Одна в глуши лесов сосновых
 Давно, давно ты ждешь меня.
 Ты под окном своей светлицы
 Горюешь, будто на часах,
 И медлят поминутно спицы
 В твоих наморщенных руках.
 Глядишь в забытые ворота
 На черный, отдаленный путь:
 Тоска, предчувствия, заботы
 Теснят твою всечасно грудь.

Любовно, с поразительным сердечным проникновением изображена другая няня — в «Онегине». Все помнят тот эпизод, когда Татьяна Ларина пишет письмо Онегину и когда раскрывается сердечная история дворянской девушки. Но не все усваивают другую сердечную историю, изложенную Пушкиным здесь же, историю крепостной девушки, которая стала няней Татьяны и на расспросы барышни рассказывает скупыми словами о своей печальной судьбе:

«И, полно, Таня! В эти лета
 Мы не слышали про любовь;
 А то бы согнала со света
 Меня покойница свекровь».
 «Да как же ты венчалась, няня?»
 «Так, видно, бог велел. Мой Ваня
 Моложе был меня, мой свет,
 А было мне тринадцать лет.
 Недели две ходила сваха
 К моей родне, и наконец
 Благословил меня отец.
 Я горько плакала от страха;
 Мне с плачем косу расплели

Да с пенем в церковь повели.
И вот ввели в семью чужую...
Да ты не слушаешь меня...» —

Татьяна не слушала няню. Поглощенная заботой о письме к Онегину, барышня прерывает Филиппьевну в ее попытке вновь вспомнить старину:

Ах, няня, няня! до того ли?
Что нужды мне в твоём уме?

Так и остается недосказанной и недослушанной история няни...

Было проявлением благородного гуманизма, было демократической смелостью со стороны поэта — сопоставить Таню и Филиппьевну. Было актом не только художественной интуиции, но и морального проникновения — вложить в уста крепостной старухи такие душевные, сердечные речи:

О пашка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да, слава богу, ты здорова!

А ведь Филиппьевна могла бы «ожесточиться, очерстветь», просто — отупеть в своей крепостной неволе.

Мы как-то недооцениваем этого высокого достижения художественной и нравственной правды.

Недооценённым, даже безвестным, остается и еще один образ, созданный Пушкиным: образ крестьянки-сказительницы Пахомовны, одаренной народной поэтессы. О ней с благодарностью вспоминают ее односельчане:

Мастерица ведь была,
И откуда что брала...
Слушать, так душе страдно —
И не пил бы и не ел,
Все бы слушал да сидел.
(„Свят Иван, как пить мы станем“.)

Здесь мы приходим к народной поэзии. Народное поэтическое творчество, перед которым преклонялся Пушкин, которое он собирал и изучал всю жизнь, обогатило поэта, а через него и всю русскую литературу, также и музыку, и живопись, щедрыми дарами поэтического языка, образности, сюжетов, юмора, сатиры, сильных и глубоких чувств. Через народную поэзию, а также через непосредственное и постоянное общение с русским народом в разных областях страны Пушкин овладевал неисчерпаемыми богатствами народной речи.

Не только для художественной литературы, но и для государственной жизни, для всей национальной культуры имело великое значение то, что Пушкин явился основоположником нового русского литературного языка. И вот надо запомнить, что эта великая реформа национального языка была совершена Пушкиным на основе живой народной речи, народной поэзии. Пушкин не уставал проповедывать: «разговорный язык простого народа» — «достоин глубочайших исследований», «изучение народных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка». К русским писателям Пушкин обращался с одушевленным призывом: «Вслушайтесь в простонародные наречия, молодые писатели, — вы в них можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах». В другом случае: «что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!». «Ах, боже мой, чуть не забыл!» — пишет Пушкин брату Льву, — «вот тебе задача: историческое, сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории».

Пушкин с гордостью и убеждением проповедывал: «Предания русские ничуть не уступают фантастической поэзии и преданиям ирландским и германским».

Когда Пушкин, преодолевая обветшалые традиции классицизма и романтизма, приходил к постановке великой проблемы художественного реализма, он опирался на мысли о народе — о достоинствах народной поэзии, о самом служении искусства народному благу. Пушкин требовал, чтобы новая реалистическая литература глубоко освоила простоту и правдивость живой народной речи и народной поэзии. Перед словесным искусством, в частности — драматическими произведениями, Пушкин ставит смелую и высокую задачу: приблизиться к народным массам. Пушкин рассуждал (в 1830 г.): «народная трагедия родилась на площади, образовалась и потом была призвана в аристократическое общество... Мы захотели бы придворную сумароковскую трагедию низвести на площадь». Но — «как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади? — как ей вдруг отстать от подобострастия... где, у кого выучиться наречию, понятному народу? какие суть страсти сего народа?...»

В своем новаторском, самобытном, реалистическом творчестве Пушкин явил гениальные достижения народной драмы, народной литературы.

Для великого поэта народная речь и народная поэзия были не только явлениями литературными, эстетическими, но и явлениями этического, нравственного значения: они раскрывали душу народа, его национальный характер, то есть то существенное, что необходимо было Пушкину как мыслителю, как политическому деятелю, как писателю для осознания исторического развития народа и его будущего. «Есть образ мыслей и чувствований, — писал он в 1826 г., — есть тьма обычаев и поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу».

Следует признать, что и сам Пушкин, в высоких проявлениях своей личности, был лучшим представителем русского национального характера — «в очищенной красоте», как сказал Гоголь.

3

Законом творчества Пушкина была органическая связь с жизнью, жизнью государственной, национальной, общественной, народной.

Как негодную ветошь следует отбросить потуги литературоведов-книжников и формалистов объяснить развитие пушкинского творчества из тогдашних споров о классицизме, сентиментализме, романтизме, реализме, из «западных влияний» и т. д.

Пушкин гениально умел слушать жизнь, слушать революцию. Перед ним волновалось великое море народной жизни.

Мы должны помнить мудрое указание Ленина, что следом за войной за национальную свободу поднимается иная война, война за социальное освобождение.¹ Еще в 1812 г., в Пензенской губернии, ополченцы, отнюдь, не отказываясь от борьбы с Наполеоном, устранили, однако, офицеров и избрали полковника из своей среды. С 1813 по 1825 г. произошло 540 крестьянских волнений. В 1818—1820 годах возникли волнения на Дону, в Екатеринославской губернии; ими было охвачено более 45 тысяч крестьян; Пушкин был свидетелем Екатеринославского восстания. В 1820 г. в самой военной столице, в Петербурге, вспыхнуло восста-

¹ В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. IX, стр. 280—281.

ние Семеновского полка. В прокламациях восставших солдат писалось о «всесильных и гордых дворянах», о них и о царе говорилось: «тиран тирана защищает», царя и дворян предлагалось взять «под крепкую стражу».

И вот, когда мы хотим осмыслить закономерность развития народно-реалистического творчества Пушкина, надо учитывать не мелкие тогдашние кружковые споры, не книжные «влияния», а именно эти грозные сигналы глубокой социальной войны.

Пушкин слушал жизнь, слушал революцию как у себя на родине, так и на Западе. С величайшим вниманием он следил за тогдашней борьбой народов Запада с политическим и социальным насилием. В 1820 г. он говорил: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский — тоже; не трудно расчесть, чья сторона возьмет верх». В тот момент Пушкин был полон надежд на победу народов. Но они не оправдались: силы реакции временно взяли верх над освободительными движениями народов Запада. И в родной стране Пушкин видел, как стихийные, неорганизованные крестьянские восстания подавлялись одно за другим. Пушкин тяжело переживал эти катастрофы. Как он сказал в одном стихотворении, его нередко тогда охватывала «тоска внезапная».

Но Пушкин не впадал в пессимизм. Он верил в будущее, в окончательную победу свободы. В 1825 г. в стихотворении «Андрей Шенье» Пушкин так говорит о свободе:

Скрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;
Но ты придешь опять со мщением и славой, —
И вновь твои враги падут.
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Все ищет вновь упиться им...

Пушкин был полон исторического оптимизма. И следует понять, что этот оптимизм опирался на непоколебимую веру в силу и в будущее русского народа. Противопоставляя Пушкина «скорбнику» Байрону, Герцен писал: «Пушкин знал все страдания цивилизованного человека, но у него была вера в будущее, которой человек Запада уже лишился».

Пушкин умел учиться у жизни, у истории.

Еще за несколько лет до 14 декабря 1825 г. он уже был скептически настроен относительно осуществимости в России политического переворота силами военного заговора, без участия народа — так, как это подготавливалось в декабристских организациях. Отсюда начинается отход Пушкина от заговорщицкой политики декабристов — как и от их романтической поэтики.

Вырастала огромная идеологическая и творческая проблема: отрешаясь от романтической отвлеченности и ограниченности — в предельной полноте и глубине понять и реалистически изобразить подлинного человека и народ, в их объективном бытии и развитии, в их статике и динамике.

4

Первым крупным произведением новаторского реалистического творчества Пушкина стала трагедия «Борис Годунов», где Пушкин ставит проблему закономерностей, каким подчинена историческая жизнь народа и государства. Он чутко воспринимает сложность, антагонистичность социально-политических сил и отношений. Он понимает их как социальную борьбу. Он видит зависимость человека от социально-исто-

рических сил. Пушкин вновь и еще глубже ставит огромную проблему взаимоотношений власти и народа; народу он уделяет огромное внимание.

Пушкин выдвигает «мятежность» народа. Он в полную меру оценивает социально-историческое значение недавнего закрепощения народа (отмену «Юрьева дня»). Он предугадывает ту народную «потеху», какая отсюда может возникнуть.

«Борис Годунов» знаменует начало восхождения Пушкина к вершинам реализма. В 1827 г. Пушкин пишет «Арапа Петра Великого». Следует устранить ходячий предрассудок, будто героем этой неоконченной повести является Ганнибал. Нет, героем задуман Пушкиным сын мятежного стрельца, «волченоч», опасный для русского боярства. О стрельцах же Пушкин думал примерно так же, как писал в 1832 г. декабрист А. А. Бестужев: «Эпоха великих характеров. Это великаны старинной Руси... Это бой на смерть! Стрельцы!... громкое имя... в них замерла последняя народность».

В 1830 г. писалась «История села Горюхина» — красноречивая уже одним своим заглавием картина крестьянского разорения, нарисованная с горьким юмором. В 1832 г. написан «Дубровский», памятный по изображению социальной ненависти крестьянства к помещикам и чиновничеству. В 1833 г. Пушкин начинает писать «Капитанскую дочку», в 1834— «Историю Пугачева»; в ноябре 1836 г., т. е. близко к смерти Пушкина, «Капитанская дочка» печатается. В 1835 г. Пушкин пишет «Сцены из рыцарских времен» — пьесу, которую так высоко оценил Чернышевский.

В «Дубровском», в «Капитанской дочке», в «Истории Пугачева», в «Сценах из рыцарских времен» Пушкиным владеет прежде всего мысль о насильственной борьбе народа, крестьянства, против социального угнетения, мысль о народной революции. Характерно, что писатели-декабристы не изображали восстаний крестьянства; Рылеев в своих исторических «Думах» не коснулся ни Разина, ни Пугачева. А вот Пушкин считал Разина «единственным поэтическим лицом в русской истории». Про Пугачева он написал замечательные строки: «весь черный народ был за Пугачева... одно дворянство было открытым образом на стороне правительства». По справедливому слову А. А. Фадеева, «Пушкин увидел в Емельяне Пугачеве крупного деятеля, показав его обаятельным, и сделал его единственным носителем справедливого начала».

Задержу внимание читателей на «Сценах из рыцарских времен», — поскольку в пушкиноведении высказано было совершенно ошибочное суждение, будто в этом незаконченном произведении нет «применений» к русской современности (Д. П. Якубович). Напротив, они там есть, больше того: весь замысел этой социально-исторической драмы вырос из размышлений Пушкина о судьбах русского народа. Понятно, однако, что Пушкин как мыслитель высокого уровня не мог не сопоставлять историю русского народа с судьбами народа на Западе. Отсюда его интерес к истории феодализма.

И вот, в «Сценах из рыцарских времен» Пушкин противопоставляет два мира: рыцарей-феодалов и их закабаленных «вассалов»-крестьян, с организатором попытки восстания, Францем. Рыцари грубы, некультурны, высокомерны, безжалостны и жестоки. Франц одарен, мужествен, горд. В пьесе Пушкин изобразил сражение, когда под ударами крестьян «все рыцари падают один за другим; вассалы бьют их дубинами, косами». Крестьяне: «Наша взяла!.. Кровопийцы! разбойники! гордецы поганые! теперь вы в наших руках...» Один из рыцарей: «Это

бунт — подлый народ бьет рыцарей». Другой: «И эти подлые твари могли победить благородных рыцарей — смотрите: один, два, три... девять рыцарей убито. Да это ужас!».

«Сцены из рыцарских времен» писались Пушкиным после «Истории Пугачева» и накануне печатания «Капитанской дочки». Все три произведения проникнуты одной мыслью: о народном восстании.

Было бы исторической ошибкой, незаконным «улучшением истории», если бы мы попытались придать Пушкину значение идеолога крестьянской революции. Социально-политические воззрения Пушкина, современника и соратника декабристов, несут в себе неизбежные исторические ограничения. Еще Белинский указывал такие ограничения в «Онегине». Проблема народа — труднейшая проблема, и нам известно, какие ошибки допускал в решении ее Лев Толстой — спустя много лет после Пушкина. О Пушкине прекрасно сказал Горький: «Мы должны уметь отделить от него то, что в нем случайно, то, что объясняется временем и личными, унаследованными качествами — все дворянское, все временное — это не наше, это чуждо и не нужно нам. Но именно тогда, когда мы откинем все это в сторону, — именно тогда перед нами и встанет великий русский народный поэт».

5

В круг своих размышлений о народе, о народном благе, о народном будущем Пушкин включал, вслед за родным русским народом, и другие народы.

В этом ряду я считаю необходимым сказать о «Песнях западных славян» Пушкина. Они ценны для нас симпатиями Пушкина к братским славянским народам. Но в песне «Воевода Милош» заключено обобщение, созданное Пушкиным из размышлений о революционном энтузиазме, одушевляющем любое народное восстание — в славянстве, на Западе, в России:

Заедают нас волки-янычары!
 Без вины нам головы режут,
 наших жен обижают, позорят,
 сыновою в неволю забирают..
 ...Старики даже с нами согласны:
 Унимать нас они перестали,—
 Уж и им нестерпимо насилье.

А дальше — мужественный призыв к партизанской войне:

Или вы не мужчины, — старухи?
 Вы бросайте ваши белые дома,
 Уходите в Велійское ущелье, —
 Там гроза готовится на турок...

Здесь напомним, с каким энтузиазмом приветствовал Пушкин греческое восстание, т. е. борьбу греческого народа за национальную свободу, против турок. Возьму только цитату из одного стихотворения 1822 г.; это — венок, возложенный русским поэтом на могилу греческого героя-партизана:

Гречанка верная! не плачь, — он пал героем,
 Свинец врага в его вонзился грудь.
 Не плачь — не ты ль сама пред первым боем
 Назначила кровавой чести путь?..
 ...Он в сечу ринулся — и падши совершил
 Великое, святое дело.

Глубокое сочувствие, гуманизм, демократизм Пушкина простирались и на другие народности мира.

Горячие строки посвятил Пушкин в статье «Джон Теннер» (1836)

защите американских негров и индейцев. Пушкин обличает буржуазное американское общество в «отвратительном цинизме, жестоких предрас-судках, нестерпимом тиранстве», с каким оно создает «рабство негров посреди образованности и свободы». Пушкин резко осуждает «отноше-ние Штатов к индейским племенам, древним владельцам земли»; это — «явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского кон-гресса».

Как высокую черту мысли и сердца Пушкина следует признать отсутствие у него национальной исключительности, замкнутости, огра-ниченности. Для нас незабвенна та высокая мечта, какую питал Пушкин и какую живем и мы ныне, мечта

...о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Эта благородная черта сказалась и на его отношении к братским народам страны. Путешествия поэта по Кавказу, Крыму, Украине, Бес-сарабии, Оренбургскому краю, личные встречи с деятелями националь-ных культур, изучение и изображение природы, национального быта, исторического прошлого братских народов, их характеров, интерес к их фольклору и современной поэзии, — все это было у нас издавна предме-том научного изучения. Мы гордимся этой светлой страницей в полити-ческой и творческой биографии Пушкина. И все народы Советского Союза с горячей любовью чтут память великого писателя. Вожди со-ветского народа высоко оценивают творчество А. С. Пушкина. Он был любимым поэтом В. И. Ленина. И. В. Сталин 6 ноября 1941 г., говоря о людях, являющихся гордостью великой русской нации, называл имя Пушкина рядом с именами Белинского, Толстого, Плеханова. Пушкин-ский юбилей является беспримерным и знаменательным торжеством. Только в стране победившего социализма, в стране, живущей под солнцем Сталинской конституции, в стране, где впервые в мировой истории разрешен национальный вопрос, — возможно такое ликующее всенародное празднество.

Проф. Н. И. Мордовченко

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПУШКИНА

Более ста лет назад Белинский, подводя итоги своему замечательному разбору творчества Пушкина, проницательно предсказывал то время, когда Пушкин «будет в России поэтом классическим», когда «потомство воздвигнет ему вековечный памятник». Это произошло в нашу великую социалистическую эпоху: слава Пушкина стала у нас действительной всенародной славой, Пушкин сделался первым и любимейшим поэтом народов Советского Союза. Об этом убедительно свидетельствует широкое всенародное чествование памяти Пушкина, которое происходило в 1937 г. в связи с исполнившимся столетием со дня его гибели. Об этом свидетельствует стопятидесятая годовщина со дня рождения Пушкина, которую праздновала наша страна в текущем 1949 г.

Еще при жизни Пушкина Гоголь сказал о нем, что «никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему».

Пушкин вышел из дворянской среды, по воспитанию и образованию он был тесно связан с дворянской культурой, но он принадлежал к тем „лучшим людям” из дворянства, которые своей деятельностью способствовали пробуждению народа. По всему характеру и направлению творчества Пушкин далеко опередил свое время и свою эпоху. Он явился в своем творчестве предвестником подлинно человеческой свободной жизни, — таких отношений между людьми, которые невозможны были в обществе, основанном на угнетении народа.

«В 1825 г. Россия впервые видела революционное движение против царизма», — говорил Ленин в докладе о революции 1905 г.¹ Декабристы впервые подняли знамя открытой, политически осознанной борьбы с крепостничеством и самодержавием. В обстановке развертывания этой борьбы рос и созревал поэтический гений Пушкина. Пушкин стал глашатаем самых передовых для своего времени идей дворянской революционности, причем с многими деятелями декабризма его связывали узы личной близости и дружбы.

Отечественная война 1812 г., оказавшая огромное влияние на идейное развитие декабристов, не меньшее влияние оказала и на Пушкина. Общественный патриотический подъем в пору борьбы с полчищами Наполеона стал источником свободолюбия как Пушкина, так и декабристов. Свободолюбивая атмосфера Царскосельского лицея, где учился Пушкин, прекрасно подготовила его к восприятию декабристских идей. Еще на лицейской скамье Пушкин создает свое послание «Лицинию», которое

¹ В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., т. XIX, стр. 348.

заканчивалось грозным указанием на то, что государство, основанное на рабстве, обречено на гибель: «Свободный Рим возрос, а рабством погублен».

В стране самодержавия и крепостного права, во времена военных поселений и аракчеевского застенка Пушкин восславил свободу. В Пушкинской оде «Вольность» современники услышали призывы к борьбе и революционному насилию. В стихотворении «Деревня» Пушкин выступил с горячим протестом против крепостного права. Послание к «Чадаеву» явилось для Пушкина своего рода исповеданием его свободолюбия и патриотизма.

Революционные стихотворения и эпиграммы Пушкина распространялись из Петербурга по всей стране в сотнях рукописных копий, они переходили из рук в руки и заучивались наизусть.

1820 год — год высылки Пушкина из Петербурга — был началом революционного подъема во всей Европе. В Испании, Италии и Португалии развернулись революционные события, в Париже был раскрыт военный заговор, в Петербурге вспыхнуло вооруженное восстание Семеновского полка, сопровождавшееся серьезным революционным брожением во всей царской гвардии. Революционное движение перекинулось и в Грецию, на Балканский полуостров, в Молдавию и Валахию.

В Кишиневе Пушкин особенно близко сошелся со многими деятелями декабризма, которые пересматривали тогда свои боевые и тактические планы в связи с происходившими революционными событиями. Кишинев был центром бессарабской ячейки «Союза Благоденствия», возглавлявшейся петербургским знакомцем Пушкина генералом М. Ф. Орловым. Поэт знал, что его кишиневские друзья вели систематическую революционную работу среди солдат и искали единомышленников среди офицерства и местной интеллигенции.

В 1821—1822 гг., в пору пребывания Пушкина в Кишиневе, его революционные настроения необычайно возросли. Этому способствовали впечатления окружавшей Пушкина действительности, общий революционный подъем, происходивший тогда в Европе и России, а также его общение с южными декабристами. Революционные стихотворения Пушкина, которые он продолжал создавать, распространялись в списках, как боевые прокламации. Они поднимали у декабристов революционный дух, они звали на борьбу за политическое раскрепощение России.

О кишиневских политических настроениях Пушкина ярко свидетельствует дневник его сослуживца Долгорукова, где имеются весьма примечательные записи. Как гласят эти записи, Пушкин открыто говорил, что «тот подлец, кто не желает перемены правительства в России», он выступал против крепостного права, считал самым уважаемым сословием в России земледельческое, а дворян, по его словам, «надобно всех повесить»: он «с удовольствием затягивал бы петли».

Организационно Пушкин никогда не входил в тайные общества, и, однако, он был подлинным идейным вдохновителем декабристов. Недаром уже после разгрома восстания Жуковский в одном из своих писем к Пушкину с тревогой отметил, что «в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои». Декабрист И. Якушкин вспоминал впоследствии, что «в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал наизусть» революционных стихов Пушкина. Другой декабрист, Д. И. Завалишин, писал о Пушкине: «Можно наверное сказать, что по крайней мере 9/10, если не 99/100 тогдашней молодежи первые понятия о безверии и крайних революционных мерах получили из его стихов. Самое достоинство стиха, легко удерживаемого в

памяти, содействовало распространению революционных идей; если не все прилагали их к делу, то все-таки знакомы с ними были по Пушкину». Глубокие нерасторжимые связи своего поэтического творчества с движением декабристов Пушкин прекрасно сознавал и сам, и впоследствии в стихотворении «Арион» он с полным правом назвал себя певцом отважных «пловцов» — декабристов.

Величие Пушкина состоит, однако, не только в том, что он был глашатаем идей дворянской революционности, но и в том, что он понял ее слабые стороны. За полтора-два года до декабрьского восстания Пушкин начал приходить к выводу, что в оторванности от народа заключается подлинная трагедия того движения, с которым так тесно связана была его собственная судьба. Декабристы еще не знали, что народ является движущей силой истории. Но этой великой истиной сумел овладеть Пушкин, и потому-то он стал основоположником новой русской литературы. Свое понимание народа, как основной и решающей силы исторического процесса, Пушкин развернул в «Борисе Годунове», законченном в Михайловской ссылке за месяц с небольшим до восстания 14 декабря 1825 г.

В Михайловском Пушкина навещил его лицейский товарищ — декабрист Пуцин, из Михайловского Пушкин вел переписку и дружески спорил по литературным вопросам с северными декабристами — Рылеевым и А. Бестужевым. Пушкин деятельно сотрудничал в их альманахе «Полярная Звезда»: они преклонялись перед его гением и считали главой русской поэзии. «Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца», — писал Пушкину Рылеев под впечатлением «Цыган». И в другом письме, отправленном совсем незадолго до восстания, Рылеев обращался к поэту с такими словами: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин».

Пушкин видел зарю декабристской революционности, он явился певцом декабризма, но он понял и главную причину неизбежности трагического конца всего движения. «Первые годы, следовавшие за 1825, были ужасающие», — вспоминал Герцен. «Только лет через десять общество могло очнуться в атмосфере порабощения и преследований. Им овладела глубокая безнадежность, общий упадок сил. Высшее же общество с подлым и низким рвением поспешило отречься от всех гуманных чувств, от всех цивилизованных мыслей».¹ Пушкин никогда не отрекался и не отрекся от гуманных чувств, на всю жизнь он остался верен идеалам своей молодости, декабристы на всю жизнь остались для него братьями, друзьями, товарищами.

В 1827 г., когда жена декабриста Н. Муравьева уезжала к мужу в Сибирь, Пушкин передал ей стихотворение, приветствующее ссыльных декабристов и полное глубокой веры в их дело:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Отправляя послание «В Сибирь», Пушкин ставил на карту свою свободу. Николаевская реакция не упустила бы случая расправиться с поэтом, если бы его поступок стал известен третьему отделению.

В мае 1829 г. Пушкин, несмотря на запрещение, отправился в действующую армию в Закавказье. Едва ли не главным побуждением

¹ А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. VI, П., 1919, стр. 364.

к этой поездке было его стремление встретиться с сосланными на Кавказ декабристами. Ко времени приезда Пушкина в действующей армии служило 58 бывших декабристов и среди них брат его лицейского товарища М. Пушин, Вольховский, Бурцев и многие другие. Впечатления этой поездки отразились у Пушкина в его «Путешествии в Арзрум», которое пестрит именами декабристов, названных из-за цензурных соображений, по большей части, одними инициалами.

На Кавказе перед Пушкиным прошла длинная вереница живых свидетелей и участников недавнего героического прошлого. Общение с сосланными на Кавказ декабристами Пушкин использовал в работе над величайшим своим созданием — «Евгением Онегиным».

Через год после поездки на Кавказ поэт начал десятую главу романа, которую он писал под впечатлением кавказских встреч и бесед с декабристами, но которую из предосторожности должен был сжечь, оставив для себя лишь тщательно зашифрованные отрывки. Теперь когда пушкинский шифр давно разгадан исследователями, мы знаем, что в десятой главе поэт дал сатирическую характеристику Александра I («властитель слабый и лукавый»), говорил об Отечественной войне 1812 года, воссоздавал образы деятелей декабристского движения и показывал жизнь первых революционных организаций. Сохранилось известие, сообщенное одним мемуаристом, будто в 1829 г., во время пребывания на Кавказе, Пушкин рассказывал своим собеседникам «довольно подробно все, что входило в первоначальный замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был погибнуть на Кавказе или попасть в число декабристов».

Было бы неправильно, как это делают некоторые исследователи, считать, что герой пушкинского романа — это будущий декабрист. Как реализовался бы замысел Пушкина, мы не знаем, а истолковывать роман на основе одних предположений глубоко ошибочно. Несомненно лишь, что Пушкин мыслил свой роман как роман общественно-политический. Заканчивая его в условиях цензурно-полицейского террора николаевской реакции, Пушкин не имел возможности не только поэтически воссоздать декабристское движение, но даже коснуться этой темы. Поэт отнес действие в «Евгении Онегине» к декабристскому пятилетию 1820—1825 гг., но он вынужден был укоротить свой роман и отказаться от освещения политической жизни дорогого для него времени. И все же в заключительной строфе последней главы «Евгения Онегина» Пушкин говорит о декабристах. Это им, его товарищам и друзьям, из которых одни были повешены, а другие томились в кавказской армии или в Сибири, посвящены строки:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.

Революционные традиции декабристов не умерли, однако, в русском обществе; эти традиции унаследовало новое поколение русских революционеров — революционных демократов. Первым из них явился Белинский, который, по словам Ленина, стал «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении». ¹ Белинский вышел на общественную арену за три года до гибели Пушкина, и в эти годы далеко еще не сложилось его революционно-демокра-

¹ В. И. Ленин. Соч., 4-е изд., т. XX, стр. 223.

тическое мировоззрение. В последекабрьскую эпоху Пушкин не видел и еще не мог видеть тех общественных сил, которые бы могли возглавить борьбу с крепостничеством и самодержавием. В этом главный источник тех трудностей и противоречий, в кругу которых суждено было биться гению Пушкина в 30-е годы. Все надежды Пушкин стал возлагать на распространение просвещения и гуманности. В развитии своих политических взглядов Пушкин не пошел дальше идей просвещенного дворянства. Однако Пушкин проницательно угадывал новые общественные силы, окончательно созревшие после его гибели. Знаменательно, что в последние годы жизни он внимательно присматривался к деятельности молодого Белинского, сочувственно о нем отзывался и совсем незадолго до гибели решил привлечь к совместной журнальной работе в «Современнике».

Пушкин пал жертвою самодержавно-крепостнического строя, затравленный великосветской придворной челядью; он был убит, как впоследствии писал Герцен, «одним из тех иностранных драчунов-забияк, которые как средневековые наемники... отдают свою шпагу за деньги к услугам всякого деспотизма. Он пал в полном расцвете сил, не окончив своих песен, не досказав того, что имел сказать».¹ Но и то, что сказано было Пушкиным, открыло новую эпоху в русской культуре.

По словам М. Горького, «Пушкин как бы зажег новое солнце над холодной хмурой страной, и лучи этого солнца сразу оплодотворили ее».² Пушкин был новатором во всех областях художественного творчества. Он произвел переворот в русской поэзии, он явился преобразователем нашей драматургии, он был, наконец, смелым пролагателем совершенно новых путей в художественной прозе.

Неисчислимыми заслугами родине измеряется историческое значение Пушкина. Бессмертие Пушкина — в силе его патриотизма, в его самолюбии. Пушкин всегда сознавал свою ответственность перед родиной, и до конца дней он пронес живое чувство ее чести. «Только революционная голова... может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык», — писал Пушкин. «Все должно творить в этой России и в этом русском языке».

С начала своего творческого пути Пушкин обратился к разработке неистощимых богатств русского языка. Родоначальник новой русской литературы, он явился в то же время создателем русского литературного языка. Пушкин не уставал повторять о глубокой самобытности русского языка, об особенностях русского национального стиля, резко отличающих его от «европейского жеманства и французской утонченности». Пушкин был знатоком народного языка, он наблюдал народный язык и записывал его. Он оценил самый строй народной речи и положил ее в основу речи поэтической, литературной. В тесной связи литературного языка с народной речью Пушкин видел залог «свободы нашего богатого и прекрасного языка». В статье «О предисловии г-на Лемонте к французскому переводу басен Крылова» Пушкин писал: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими».

Произведения устного народного творчества, русские народные песни и сказки являлись для Пушкина неиссякаемым источником вдохновения. Пушкин слушал народных сказителей, он записывал русские песни, он пристально изучал русские пословицы. «Что за роскошь,

¹ А. И. Герцен. Полное собр. соч., т. VI, П., 1919, стр. 358.

² «Правда» (ЦО), 1938, № 165 (статья М. Горького о Пушкине, 1925 г.).

что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!» — восхищался Пушкин. О русских сказках он говорил, что каждая из них «есть поэма». Пушкин считал, что «изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойства русского языка».

М. Горький был глубоко прав, когда указывал, что Пушкин «был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу...»¹ М. Горький добавлял при этом, что Пушкин «украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу».

Наряду с устным народным творчеством. Пушкин был знатоком и ценителем памятников нашей древней литературы и, в частности, величайшего ее создания — «Слова о полку Игореве». Пушкин знал эту поэму «от начала до конца наизусть», он подходил к ней не только как поэт, но и как ученый исследователь. Пушкин выступал с горячей защитой подлинности «Слова», а под конец жизни взялся за большой труд критического его издания. Как русский патриот Пушкин гордился «Словом», свидетельствовавшим о наличии высокой культуры еще в Киевской Руси XII в.

Глубоким патриотизмом проникнуты многие отзывы Пушкина и о русских писателях. Пушкин высоко ценил Ломоносова как гениального человека и ученого, считая его „основателем словесности своего отечества“. „Он создал первый университет“ — писал Пушкин о Ломоносове. „Он, лучше сказать, был сам первым нашим университетом“. Фонвизина Пушкин назвал «смелым властелином сатиры» и «другом свободы», а в письме к брату замечал: «Не забудь фон-Визина писать Фонвизин. Что он за нехристь? Он русский, из перерусских русской». Пушкин восставал против всякого рода попыток принизить национальное значение Крылова, которого он считал «истинно-народным поэтом» и «представителем духа русского народа». Знаменитая пушкинская ода «Вольность» преемственно связана с одой «Вольность» Радищева, которого Пушкин помнил всю жизнь. Когда декабрист А. Бестужев не упомянул имени Радищева в своем обзоре русской литературы, Пушкин сетовал ему: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить?» В 30-е годы Пушкин полемизировал с Радищевым и преодолевал его, но в первоначальном варианте своего «Памятника» он написал:

И долго буду тем любезен я народу,
 Что звуки новые для песен я обрел,
 Что вслед Радищеву восславил я свободу
 И милосердие воспел.

Пушкин видел рабство и угнетение народа, преследования и гонения передовой независимой мысли. Он сам испытал горечь изгнания и ссылки, он пережил трагический исход движения декабристов, с которыми связаны были лучшие его мечты и надежды. Пушкин глубоко страдал от жестокостей и мерзостей николаевского строя и не раз вырывались у него горькие признания: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом», — писал он жене в 1836 г. Но Пушкин никогда не переставал быть любящим сыном своего отечества, он никогда не изменял своему гражданскому долгу. В том же 1836 г. Пушкин дал горячую отповедь П. Я. Чаадаеву, который выступил с отрицательной оценкой русской истории: «... клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории

¹ М. Горький. История русской литературы. Гослитиздат, М., 1939, стр. 98.

наших предков, такой, какой нам бог ее дал». В этих словах Пушкин выразил глубокое чувство родины, которое никогда не отделялось у него от любви и уважения к ее прошлому.

«История народа принадлежит поэту», — говорил Пушкин, и в своих произведениях он воссоздал многие замечательные страницы русской истории. В «Борисе Годунове» он изобразил события периода крестьянской войны начала XVII в. и польско-литовской интервенции. В «Полтаве» и «Арапе Петра Великого» Пушкин воскрешал эпоху Петра I. К образу Петра I, который был его любимейшим героем, он обращался в «Стансах», а впоследствии в «Медном всаднике». В «Рославлеве», а также во многих стихотворениях Пушкин говорил об эпохе Отечественной войны 1812 г. Восторженно отзываясь о роли Кутузова в истории России, Пушкин писал: «Имя его не только священо для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы русские, что оно звучит русским звуком?». В «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева» Пушкин развернул картины, относящиеся к эпохе великого народного движения XVIII в. Как историк Пушкин подошел и к своей современности, запечатлев ее в «Евгении Онегине». Белинский точно определил значение пушкинского романа в истории русской культуры, когда он писал, что «Евгений Онегин» «есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица». «Историческое достоинство этой поэмы тем выше, — добавлял Белинский, — что она была на Руси и первым и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания».

«Евгений Онегин» — это подлинная вершина пушкинского реализма. Пушкин воссоздал в своем романе разнообразные слои русского общества 1820—1825 гг. в лице его типических представителей. Здесь и петербургский свет, и дворянская интеллигенция, и провинциальное дворянство, споры Ленского и Онегина о «предрассудках вековых» и всякие фляжовы, пегушковы, густяковы, охарактеризованные двумя-тремя ироническими и сатирическими штрихами.

Читая пушкинский роман, мы знакомимся с общественно-философскими, литературными и театральными интересами эпохи, мы переносимся из столицы в деревню, из Петербурга в Москву, в путешествии Онегина перед нами проходят Нижний, Волга, Кавказ, Крым, Одесса. Мы видим наши города, и со всех сторон обступает нас русская природа, наш родной национальный пейзаж, поэтически воссозданный в пору весны и лета, осени и зимы. В «Евгении Онегине» перед нами образ всей России, движущаяся панорама великой страны.

Пушкинский роман не отличается запутанным сюжетом, действие его чрезвычайно просто, но эта простота действия соединена с чрезвычайной значительностью героев. Главный интерес в романе сосредоточен не на «событиях», а на личностях Онегина и Татьяны, которые встречаются и знакомятся при самых обыденных обстоятельствах, так, как сталкивала людей бытовая жизнь той эпохи.

Рисую условия воспитания и образования Онегина, Пушкин показывает его характер, как результат общественного окружения и социальной среды. Эта среда определяет и поведение Онегина.

Онегин — это дворянский интеллигент, который вырос в условиях крепостнического строя, который искалечен этим строем и потому не может найти себе настоящего дела и места в жизни. Образ Онегина дан у Пушкина в тонах легкой иронии, смешанной с чувствами симпатии и грусти. Пушкин показывает глубокую отчужденность Онегина от окру-

отвечавший исторической обстановке не только пушкинской эпохи, но и последующих десятилетий.

Сила пушкинского реализма состояла в том, что его творчество питалось реальной действительностью и он поднимал в своих произведениях не второстепенные и случайные, а коренные вопросы русской жизни. По ходу своего идейно-художественного развития Пушкин вплотную подошел в 30-е годы к будничной повседневности, к трезвому, лишенному всякой идеализации, изображению обыденной жизни. Об этом он декларативно говорил еще в «Евгении Онегине»:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косягор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи —
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых...

Со смелостью, свойственной только ему, Пушкин поставил и решил великую задачу изображения в поэзии жизни такой, какой она есть — со всей ее прозой и холодом. Пушкин решил великую задачу поэтического изображения будничного и обыкновенного. Недаром Гоголь, наследник Пушкина и продолжатель его дела, эту поэзию «обыкновенного», открытую Пушкиным, понял и истолковал как один из основных его художественных заветов. Еще при жизни Пушкина Гоголь выступил с горячей защитой простоты и безэфектности в искусстве, утверждая, что «чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина». Гоголевский тезис о «поэзии обыкновенного», теоретически обобщавший пушкинские художественные завоевания, стал руководящим для самого автора «Мертвых душ», для критики Белинского и для всего современного им реалистического движения 30—40-х годов. От пушкинской «поэзии обыкновенного» протягиваются нити не только к обличительному реализму Гоголя, но и ко всей натуральной школе 40-х годов, а в частности, к некрасовской поэзии «мести и печали».

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет подмышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал, да церковь отворил.

В этом стихотворном отрывке, рисуящем со всей жуткой выразительностью картину русской крепостной деревни — непосредственное предвестие некрасовской поэзии.

Гоголь был глубоко прав, когда он писал, что сочинения Пушкина «только может совершенно понять тот, чья душа носит в себе чисто-русские элементы, кому Россия родина...».

Пушкин хорошо знал Россию, он изездил ее в разных направлениях, он общался с многими народами, ее населявшими. Пушкин видел

самодержавный гнет, тяготевший не только над русским народом, но и над всеми другими народами тогдашней России. В неоконченной строфе стихотворения «Кавказ» мы находим у Пушкина строки, которые являются настоящим приговором национальной политике самодержавия:

Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят.

Пушкин страстно желал просвещения и свободы всем народам, населявшим Россию, и свое завещание он оставил не своему «жестокому веку», а будущим поколениям. После Великой Октябрьской социалистической революции «и гордый внук славян, и фин», и другие народы необъятного Советского Союза знают и любят благовестителя их свободы, величайшего русского поэта.

Празднуя столетие со дня рождения Пушкина, с гордостью и любовью мы вспоминали с детства знакомое нам и всегда дорогое бессмертное его имя. Имя Пушкина по праву сделалось символом красоты и могущества русского народа, олицетворением его чести и всемирно-исторической славы.

Проф. Р. А. Будагов

ПУШКИН-ЛИНГВИСТ

(К постановке вопроса)

О Пушкине-лингвисте до сих пор не существует собственно специальных исследований. Пушкинисты гораздо больше интересовались языком самого Пушкина, чем его лингвистическими суждениями, его лингвистической концепцией. Пушкин — создатель современного русского литературного языка настолько заслонил собой Пушкина-лингвиста, что, казалось, языковеду и нельзя писать о Пушкине иначе. Бесспорно, конечно, что значение практической работы Пушкина над языком огромно, ее трудно переоценить. Но для того чтобы по-настоящему понять значение этой работы, нужно попытаться глубже осмыслить теоретические позиции поэта в области языкознания. До сих пор общелингвистические суждения Пушкина привлекались либо для подкрепления того или иного грамматического или лексического нововведения самого поэта, либо для иллюстрации его отношения к современным ему лингвистическим спорам и «размышлениям». Между тем, насколько нам известно, до сих пор никто не сделал попытки понять основные мысли Пушкина о языке как определенную и, в известной степени, очень последовательную систему теоретических лингвистических взглядов, определившуюся под влиянием общего философского мировоззрения великого писателя.

Представления о целостной языковой системе Пушкина не получалось еще и потому, что анализ языка самого поэта обычно проводился «по частям». Исследователи устанавливали отношение поэта к так называемым церковнославянизмам, к народной стихии в языке, к предшествующим литературным источникам и т. д. и т. п. В результате язык самого Пушкина как бы растворялся во всевозможных «стихиях», так что у всякого непредубежденного читателя невольно возникал вопрос: чем же собственно велик Пушкин как создатель современного русского литературного языка? При всем этом чудовищно преувеличивались иноземные воздействия на язык Пушкина.

В данной небольшой статье мы хотим совершенно иначе подойти к лингвистической позиции зрелого Пушкина, попытаться обнаружить в ней не сумму разрозненных, более или менее случайных замечаний поэта по тому или иному языковому вопросу, а систему глубоко связанных между собой положений, которые позволяют говорить о целостной системе взглядов на язык, сложившейся у Пушкина в конце 20-х и начале 30-х годов прошлого века, т. е. в эпоху его зрелого творчества.

Пушкин практик, создатель современного русского литературного языка, был бы невозможен без Пушкина теоретика, глубоко размышляющего над судьбами родного языка.

1

Любовь к передовой России была неотделима для Пушкина от любви к родному языку. «Только революционная голова... — писал он в заметке 1822 г., — может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Всё должно творить в этой России и в этом русском языке».¹ Пушкин прекрасно сознавал, что работа писателя над языком имеет исключительное значение для самого художественного творчества. Вместе с тем, он столь же отчетливо понимал, что работа над языком не является только выработкой каких-то технических «приемов», которые писатель более или менее искусно применяет в том или ином случае. Для Пушкина работа над языком всегда неотделима от работы над мыслью, над идейным замыслом произведения.

В устах Пушкина отождествление любви к передовой России его времени и любви к русскому языку не являлось простой декларацией. Оно лишь подчеркивало значение проблемы языка в национальном самосознании поэта.

«Есть два рода бессмыслицы, — писал Пушкин в 1827 г., — одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения» (т. V, стр. 21). Поэт подчеркивает, что несоответствие между словом и мыслью всегда приводит к бессмыслице, но бессмыслица эта возникает не только тогда, когда при помощи набора пустых слов хотят скрыть бедность мысли, но и тогда, когда писатель не может найти соответствующих слов для передачи мысли. Поэтому вопрос о том, как подыскать соответствующие слова для соответствующей мысли, приобретает тем большее значение, чем меньше писатель довольствуется приблизительным выражением, чем больше он хочет правильно и точно передать свою мысль. Таким образом, хотя мысль и язык глубоко между собою связаны, но они не адекватны, не тождественны. Отсюда — искусство писателя, поиски наиболее совершенных способов выражения мысли. Если писатель хоть на время ослабляет свои упорные поиски в этом направлении, то он перестает быть писателем. Вот почему «прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется» (т. V, стр. 92).

Пушкин постоянно подчеркивал, что поиски наиболее точных форм выражения мысли проходят в своеобразной борьбе с условностями и трудностями самого языка. В наброске предисловия к «Борису Годунову» в 1827 г. он замечает, что писатель «должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы» (т. V, стр. 282, разрядка наша. — *Р. Б.*). Несколько раньше, в 1825 г., выражая свое восхищение поэтическим слогом Жуковского, Пушкин писал о нем сло-

¹ А. С. Пушкин, т. V, стр. 260. Цитаты из сочинений Пушкина даются по шеститомному собранию его сочинений под редакцией М. А. Цявловского, Academia, 1936 (в дальнейшем указывается том и страница). Письма Пушкина цитируются по изданию: Пушкин, Письма, 1815—1837, изд. «Художественная литература», редакция М. А. Цявловского, Москва, 1938 (в дальнейшем цитируются: «Письма» и страница).

вами Вяземского: «в бореньях с трудностью (имеется в виду язык. — Р. Б.) сила необычайный» («Письма», стр. 115). Таким образом, в период широкого и мощного становления русского литературного языка Пушкин подчеркивал глубокую и вместе с тем противоречивую связь между мыслью и словом: связь эта очевидна, ибо ее нарушение всегда и неизбежно приводит к бессмыслице (см. выше отрывок «есть два рода бессмыслицы»), но в то же время связь эта противоречива, поэтому писателю-художнику надо много и упорно работать, чтобы преодолеть превратности «формы», обнаружить именно ту форму, которая соответствует данной мысли, освободиться от «оков грамматики».

Как известно, Пушкин считал, что философский и научный язык — по его терминологии, метафизический язык — еще не были тогда созданы в России. «Метафизического языка у нас вовсе не существует, — писал он в 1824 г., — просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснились. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных» (т. V, стр. 262. Ср. т. V, стр. 18). Эта мысль о неразвитости русского философского языка того времени глубоко волновала Пушкина, и он неоднократно призывал своих друзей-писателей развивать «метафизический язык», язык философии и науки («Письма», стр. 38). Поэта не удовлетворял язык философских произведений Радищева (т. V, стр. 177), страдавший некоторой тяжеловесностью и недостаточной отчетливостью, поэтому создание русского «метафизического» языка, который помог бы более адекватно выражать мысль, чем это делалось раньше, представлялось Пушкину исключительно важным делом. Мечты Пушкина о новом метафизическом языке были определены его же убеждением о связи между мыслью и словом, между ходом исторического развития мышления и способами ее выражения в языке. Успехи науки в России, распространение идей передовой декабристской идеологии не могли не требовать и обновления языка, создания подлинно научной и строго отточенной системы выражений. Новые идеи требовали и нового научного языка. Пушкин подходит к этому вопросу строго исторически.

Как же представлял себе поэт этот обновленный язык? Всякий язык — и научный, и поэтический — должен, по убеждению Пушкина, быть прежде всего точным. Уже в 1822 г. вместе с Даламбером поэт смеется над стилем Бюффона, который порою выражал свои мысли так: «Благороднейшее из всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое...» «Зачем, — замечает Пушкин, — просто не сказать — лошадь?... Что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами. Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавляя: сие священное чувство, коего благородный пламень и проч. Должно бы сказать рано поутру, — а они пишут: «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». Как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее?» (т. V, стр. 259).

Эти мысли Пушкина сыграли исключительную роль во всей последующей истории русского литературного языка XIX и даже XX вв. Дело не только в том, как это обычно толкуют, что Пушкин выступил в этих строках против плохих и шаблонных метафор. Само по себе это осуждение плохих метафор очевидно, но не оно составляло основную цель кри-

тики поэта. Пушкин ставит здесь гораздо более общую и значительную проблему семантики слова и специфики различных речевых жанров. Чтобы понять, в чем тут дело и насколько сложной оказалась сама проблема, укажем, что она не потеряла своего значения и во времена Чехова и даже Маяковского. «Аккомпанемент, диск, гармония, — писал Чехов, — такие слова мешают».¹ Писательнице Авиловой он говорил откровеннее: «Голубушка, ведь такие словечки, как безупречная, на изломе, в лабиринте — ведь это одно оскорбление».² Еще решительнее заявлял об этом Маяковский:

Господа поэты
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы
творцы —
мне наплевать на всякое искусство.³

И в других местах: «А попробуй в ямб пойд и запихни какое-нибудь слово, например, млекопитающие», «соловей — можно, форсунка — нельзя». Таким образом проблема, поставленная Пушкиным, была гораздо глубже, чем простая критика шаблонных и вялых метафор. Речь шла о том, чтобы ввести в язык художественного повествования, в том числе и в язык поэзии, простые реалистические слова, выражающие наши повседневные представления, повседневные понятия. Поэтический язык должен отличаться от языка бытового и житейского вовсе не особым царством «избранных слов», а, как увидим ниже, особым умением писателя видеть и отбирать типичное.⁴ Однако предрассудок, будто поэтический язык должен отличаться от языка житейского именно «благородством» и «высоким строем» своей лексики оказался настолько закоренелым, что даже через сто лет Маяковский еще будет бороться с ним при помощи своей чеканной формулы: «соловей — можно, форсунка — нельзя».

Пушкин настойчиво стремился язык прозы сделать языком мысли. «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат» (т. V, стр. 260). А через год, в 1823 г., в письме к Л. Пушкину, он это же требование распространяет и на поэзию, сожалея, что в стихах Дельвига недостаток «единственной вещи — точности языка» («Письма», стр. 47). Хотя Пушкин и различал в этом отношении поэзию и прозу, однако идея «языка мысли» настолько увлекала поэта, что он стремился распространить законы этого языка частично и на поэзию. В той же, уже цитированной статье 1822 г., требуя от прозы «мыслей и мыслей», поэт, хотя и прибавляет: «стихи дело другое», но тут же комментирует: «впрочем в них (стихах) не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется» (т. V, стр. 260).

Еще более ярко эта же мысль была выражена Пушкиным в 1828 г.

¹ А. Чехов. Письма, т. V, стр. 477.

² Там же, стр. 107.

³ В. Маяковский. Соч., т. I, Гос. изд. худож. лит., М., 1939, стр. 136.

⁴ В. 1834 г. Пушкин видел достоинства языка некоторых философских стихотворений Вольтера в том, что язык этих стихотворений «одною рифмою и метром отличался от прозы» (т. V, стр. 385), а не особым подбором «высоких слов».

в знаменитом отрывке: «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем» (т. V, стр. 293). А через три года Пушкин заметил: «Определяйте значение слов... и вы избавите свет от половины заблуждений» («Пушкин-критик», 257).

Каковым же требованиям должен был отвечать, по мнению Пушкина, «язык мысли»? Означало ли все это, что поэт предлагал исключить из поэтического языка все эмоциональное? Конечно нет, причем это «нет» вытекало не только из поэтической практики самого Пушкина, но и из его теоретических воззрений. Выступая против трафаретных и шаблонных метафор и рифм, которые механически выражают «механические мысли» как бы за поэта, не давая ему возможности думать («Пламень неминуемо тащит за собою камень. Из-за чувства выглядывает непременно искусство. Кому не надоели любовь и кровь, трудный и чудный, верный и лицемерный, и проч.», т. V, стр. 375), Пушкин, с другой стороны подчеркивает, что русскому народу свойствен «живописный способ выражаться» (т. V, стр. 19). Поэт глубоко убежден, что настоящая образность языка рождается на основе точного слова, на основе слова с четко обрисованными смысловыми контурами.¹ В 1836 г., рецензируя в «Современнике» стихи Виктора Теплякова, Пушкин выписывает такие строки поэта: «тишина гробницы, громкая как дальний шум колесницы; стон, звучащий как плач души; слова, которые святее ропота волн» и замечает: «все это *не точно*, фальшиво, или, просто ничего не значит» (т. V, стр. 124. Курсив наш. — Р. Б.) С другой стороны Пушкин возмущен тем, что критик его «Онегина» восстает против таких *точных* и ясных метонимий и метафор как «стакан шипит, камин дымит, ревнивое подозрение, неверный лед». «Неужели, — замечает Пушкин, — вместо «камин дымит» нужно говорить «пар идет из камина?» (т. V, стр. 324). Неужели обязательно нужно сказать «ребятишки катаются по льду», а не «мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед»? Неужели нужно непременно писать «поцелуй младых и свежих уст», а не «младой и свежий поцелуй» (т. V, стр. 291).

Тут мы подходим к основным вопросам пушкинского понимания слова. Постараемся разобраться, что отвергает и что защищает поэт. Пушкин отвергает такую образность, которая никак не углубляет нашего представления о действительности, о понятии, никак не типизирует его. Для чего прибавлять к слову «дружба» «сие священное чувство, коего благородный пламень и проч.?» Это прибавление не способствует ни углублению наших представлений о дружбе, ни выделению каких-то специфических и вместе с тем глубоко характерных для дружбы черт. Именно ввиду неспособности данной образности справиться с каким-нибудь из этих заданий, образность эта оказывается вялой, ненужной, трафаретной. Пушкин отвергает также такую образность, которая ведет нашу мысль по неправильному пути. Почему «тишину гробницы» нужно признавать «громкой как дальний шум колесницы»? Разве это сравнение отражает какую-то сторону реальной действительности? Разве этот образ помогает нам глубже понять то, что изображается поэтом? Пушкин решительно отвечает на этот вопрос отрицательно и называет подобную

¹ Уже Белинский заметил: «Во всех томах произведений Пушкина едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь неточное или изысканное выражение» (Полн. собр. соч. под редакцией С. Венгерова, т. VII, стр. 61).

образность *неточной*, ошибочной. Вместе с тем Пушкин столь же решительно формулирует и свое положительное решение проблемы образности. «Веселые ребятишки катаются по льду» это не совсем то же, что «мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед». Первое предложение может встретиться в любом речевом жанре, второе — только в поэтическом. Писатель выбирает типичное, и это типичное он основывает на точном понимании разных значений слова. Лед действительно можно резать, но можно резать не только буквально, но и фигурально (коньками): на основное значение слова как бы наслаивается переносный смысл, формируя образ. Таким образом, как бы ни отклонялся писатель от точнейшего повествования, его отношение к слову должно быть очень точным, фигуральные смыслы должны являться дальнейшим развитием буквальных значений слова и способствовать типизации, выбору характерного, запоминающегося, «броского». В этом отношении можно утверждать, что пушкинское понимание образности не только не противоречит его же тезису о точности всякого поэтического словоупотребления, но и предполагает его. В этом смысле можно также утверждать, что тезис о «точности слова» нисколько не противоречит тезису о «живописности русского языка». Вот почему попытки некоторых недалеких современников Пушкина критиковать стиль поэта за метафорические «вольности» сейчас не могут не вызвать улыбки.¹

Пушкин уже в те времена понимал, что именно мышление является движущей силой языкового развития. «Разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов» (т. V, стр. 158). В 1834 г. Пушкин гневно напал на «писателей, которые пекутся более о механизме языка, наружных формах слова, нежели о мысли — истинной жизни его...» (т. V, стр. 382). Не «наружные формы слова» определяют развитие языка, а мысли, т. е. мышление, которое и составляет главное содержание языка. А мышление меняется, поэтому меняется и язык, являющийся формой выражения этого мышления. Утверждая эти передовые идеи, Пушкин выступает как истинный новатор и в области языковой теории, и в области языковой практики. Поэт смело вводит в литературный язык просторечные слова, ибо ему кажется, что демократизация идейной ориентации писателя не может не вызвать и демократизации его языка.

Как известно, Пушкину пришлось усиленно защищаться от нападок реакционных критиков, которые обвиняли поэта в введении в литературу «грубых» и «мужицких» слов. Одна только строка из «Онегина» — «Людская молвь и конский топ» — вызвала целую полемику, так что Пушкину пришлось сослаться на русскую сказку, где употребляются и «топ» и «молвь» (т. V, стр. 325). Широко известно также, что Пушкин советовал писателям прислушиваться к языку московских просвирен (т. V, стр. 326) и заявлял: «разговорный язык простого народа... достоин также глубочайших исследований» (т. V, стр. 326).

Приводя эти мысли Пушкина, исследователи обычно делают из них лишь общий вывод о большей или меньшей демократичности идейных и языковых позиций поэта. Но вопрос, как нам кажется, не сводится только к этой общей стороне, он находит и свое дальнейшее лингвистическое выражение. Понятие народности у Пушкина, в частности, народ-

¹ Журнал «Атеней», 1828, № 4, стр. 76—89. По поводу этой статьи П. Вяземский писал И. Дмитриеву 24 марта 1828 г.: «Критика Атеней на Пушкина во многом ребячески забавна. Критик не позволяет сказать: бокал кипит, безумное страданье, сиянье розовых снегов. После этого должно отказаться от всякой поэтической вольности в слоге...».

ности языка — понятие сложное и противоречивое. Поэт прекрасно понимал, что легче всего *внешне* решить проблему народности: например, выбрать сюжет «из отечественной истории» или «изъясняясь по-русски употреблять русские выражения» (т. V, стр. 270). Но это еще не решение вопроса. Пушкин понимал, что шекспировский Отелло гораздо более народная трагедия, чем озеровский «Дмитрий Донской» (Там же). Народные слова сами по себе еще ничего не решают. И здесь вопрос сводится к более широкому и глубокому пониманию содержания этих слов, к их идейному наполнению, к широкому контексту.

Пушкин вплотную подошел к проблеме социальной дифференциации лексик. Уже в 1830 г. в наброске письма в «Литературную газету» он писал: «В обществе вы локтем задели вашего соседа, вы извиняетесь — очень хорошо. Но, гуляя в толпе под качелями, толкнули лавочника — вы не скажите ему: mille pardons. Вы зовете извозчика — и говорите ему: пошел в Коломну, а не: сделайте одолжение, потрудитесь свезти в Коломну» (т. V, стр. 301). Эту же мысль Пушкин повторяет и в 1836 г. в «Письме к издателю» (т. V, стр. 165). «Вежливые» и «грубые» слова и выражения по мысли поэта бывают очень часто социально окрашены. Поэтому введение в литературу «грубых» и народных слов еще не обязательно свидетельствует о демократичности того писателя, который употребляет эти слова, ибо употреблять их он может с разной целью.

Таким образом проблема народных слов была углублена у Пушкина 30-х годов возникающим у него пониманием классового характера этих слов. Если реальная действительность требовала, чтобы подчас и «герои могли выражаться в трагедиях так, как конюхи. . . , ибо мы чувствуем, что и знатные должны выражать простые понятия, как простые люди» (т. V, стр. 332), то, с другой стороны, писатель вправе использовать эти разные речевые планы — язык дворянина и язык «конюха» — для социальной характеристики своих персонажей: сама жизнь приводила к тому, что дворянин с дворянином говорил совсем не так, как с конюхом или лакеем. Теоретическое равноправие слов не снимало их социальной многоплановости, ибо эта последняя определялась самим характером общественных отношений пушкинской эпохи.

Как уже было замечено, проблема народных слов приводила Пушкина еще и к другим выводам. Сами по себе «народные слова» еще не решают вопроса о подлинной народности автора, их употребляющего,¹ пока не будет раскрыт широкий контекст, в котором бытуют эти слова, и не будет раскрыта их подлинная историческая семантика. На этой основе у Пушкина рождалась идея социальной и лингвистической целостности языка. Нельзя судить о том, хорошо или плохо то или иное новое или народное слово, если оно рассматривается вне целостной системы языка, вне определенного жанра речи. «Истинный вкус, — замечает поэт в 1827 г., — состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» (т. V, стр. 19). А через три года, в 1830 г., критикуя «Марфу Посадницу» Погодина в письме к ее автору и отмечая множество его грамматических промахов, Пушкин замечает: «Но знаете ли? и это беда не беда: Языку

¹ Это прекрасно понимал и Белинский, неоднократно подчеркивавший, что «маленько-мужицким слогом» пользуются обычно реакционные писатели. Ср. Ю. С. Сорокин, Белинский и русский литературный язык, «Известия Акад. Наук СССР», ОЛЯ, 1948, вып. 5, стр. 396.

нашему надобно воли дать более (разумеется, сообразно с духом его). И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность» (Письма, стр. 241).

Хотя письменный литературный язык и должен черпать свои силы из неиссякаемого богатства народного и разговорного языка, однако между ними должно сохраняться и различие: «Может ли письменный язык, — писал Пушкин в 1836 г., — быть совершенно подобным разговорному? Нет, так как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. . . Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отсекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка» (т. V, стр. 165). Глубокая зависимость литературно-письменного языка от народного и разговорного не только не отрицает, по убеждению Пушкина, различий между ними, но в определенную историческую эпоху даже предполагает их. Письменный язык, заимствуя слова и обороты из народного и разговорного языка, проводит между этими и принятыми словами и оборотами тонкие смысловые различия и тем самым как бы вновь отходит, удаляется от своего источника, а затем вновь и вновь возвращается к этому источнику и черпает из него силы для дальнейшего развития. Зависимость литературно-письменного языка от народного и разговорного не уменьшала и жанрового многообразия русской речи.

2

Остановимся теперь столь же кратко на некоторых более специальных грамматических суждениях Пушкина. Известно, как живо интересовался поэт вопросами русской грамматики. В 1830 г. Пушкин признавался, что он всегда был благодарен критикам за дельные грамматические поправки к его сочинениям и что он «всегда поправлял замеченное место» (т. V, стр. 326). Прекрасно понимая, какое огромное значение для самой мысли имеет форма ее выражения, Пушкин упорно стремился установить наиболее правильное взаимоотношение между ними. Слог всегда должен быть «полон жизни и движения» — таков девиз зрелого художника (т. V, стр. 162). Покажем на двух-трех примерах, как понимал поэт проблему грамматического «движения» языка.

В 1827 г. в заметках на полях стихотворений Батюшкова Пушкин к стихам этого поэта

И гордый ум не победит
Любви, холодными словами. . .

сделал такое краткое, но очень многозначительное замечание: «смысл выходит — холодными словами любви; — запятая не поможет» (т. V, стр. 550). Действительно, прилагательное «холодный» относится у Батюшкова к «словам» («холодные слова»), но привычное для той эпохи и романтической поэзии сочетание «слова любви» оказывается неразрывным и не дает возможности прилагательному «холодный» войти в непосредственное соприкосновение с существительным «словами».

Так возникает неожиданное для самого поэта значение «холодные слова любви», хотя Батюшков говорит лишь о «холодных словах» гордого ума, которым не победить любви и, конечно, «пламенной любви». В действительности же получается представление не о «пламенной любви», а о «холодной любви», — противоположное значение — вследствие неразрывности самого лексического комплекса «слова любви», который и «тянет» за собою прилагательное «холод-

ный». Устойчивое лексическое словосочетание «слова любви», не подчиняясь синтаксическому контексту, образует значение, неожиданное для самого Батюшкова, исходившего в этом случае из формальной синтаксической последовательности слов, и не из глубокого внутреннего взаимодействия лексического и синтаксического факторов предложения. Своей поправкой Пушкин обнаружил не только тонкое ощущение языка, но и понимание законов грамматического и лексического единства элементов предложения. Пушкин показывает, что специальное синтаксическое членение предложения (запятая после слова «любви») не преодолевает устойчивости смыслового комплекса «слова любви» и как бы разбивается, столкнувшись с ним. Семантика словосочетания подчиняет себе форму грамматического построения. Так, разбираясь в сложных отношениях между содержанием и формой предложения, Пушкин не только теоретически декларирует ведущее значение содержания в этом единстве, но и в своих практических лингвистических анализах мастерски показывает это.

Критикуя язык «Юрия Милославского» Загоскина, Пушкин заметил насколько неточно употребляет некоторые русские пословицы автор этого исторического романа. «Из сказки слова не выкинешь». Пушкин поправляет: «из песни» и поясняет: «В песне слова составляют стих, и слова не выкинешь, не испортив склада; сказка — дело другое» (т. V, стр. 37). Поэт не может довольствоваться приблизительным смыслом пословицы. Отдельное слово в сказке может и не вступать в непосредственное взаимодействие с ближайшими словами в той же сказке, оно может быть сравнительно самостоятельным и независимым. Но в песне, вследствие особого стихотворного «склада» ее, слова вступают в настолько тесное взаимодействие друг с другом, что изъятие одного слова подчас портит весь стих. Поэтому именно «из песни слова не выкинешь».¹ Пушкин намечает здесь проблему взаимодействия слов в разных речевых жанрах, намечает контуры той области лексикологии, которая получит впоследствии наименование идиоматики, учения о фразеологических сочетаниях. Поэт анализирует семантическую сторону этих словосочетаний.

Проблема соотношения слова и предложения была тонко поставлена Пушкиным и в его замечаниях об отрицательной частице *не*, глаголе и дополнении. К этому вопросу Пушкин возвращался неоднократно, развил его в 1828 г. в ответе на статью журнала «Атеней» об «Евгении Онегине», а затем уточнил через два года в своих заметках об «Онегине». «Стих мой *Два века ссорить не хочу* — писал Пушкин, — критику показался неправильным. Что гласит грамматика? Что действительный глагол, управляемый отрицательной частицей, требует уже не винительного, а родительного падежа. Например: *я не пишу стихов*. Но в моем стихе глагол *ссорить* управляем не частицей *не*, а глаголом *хочу*. Ergo правило сюда нейдет. Возьмем, например, следующее предложение: *Я не могу вам позволить начать писат... стихи, а уж конечно не стихов*.

¹ Пушкин как бы предостерегал здесь одновременно от дальнейших искажений русских пословиц. Предостережение это оказалось очень кстати, ибо даже такие знатоки русских пословиц, как Даль, не избежали в их толковании промахов и искажений. Так, в Словаре Даля находим: «Красную жену в стенку врезать — не картинка» (под сл. *красный* изд. 1905 г.). Очевидно, следует читать: «не в стенку врезать, потому что не картинка», т. е. и красивая жена должна работать. См. по этому поводу В. И. Чернышев, Разыскания и замечания о некоторых русских выражениях, Доклады и сообщения Института русского языка АН СССР, вып. I, 1948, стр. 3 и сл.

Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь эту цепь глаголов и отозваться на существительном? Не думаю" (т. V, стр. 325).

Попытаемся раскрыть смысл этой формулировки Пушкина в плане интересующего нас вопроса о соотношении между словом и предложением: отрицательная частица *не*, непосредственно воздействуя на глагол, подчиняет себе затем и последующее дополнение, переводя его в родительный падеж, падеж зависимой субстанции («я не пишу стихов»). Но отрицательная частица *не*, относясь к глаголу, за которым не прямо следует дополнение, а через посредство других грамматических звеньев, оказывается уже не в состоянии воздействовать на это дополнение и не переводит его в родительный падеж — оставляет в винительном («не хочу ссорить два века»). Но в тех случаях, где винительный падеж формально совпадает с именительным (неодушевленные понятия) он представляет существительное как бы в более независимом виде: *два века* само по себе, вне грамматической цепи, — падеж независимой субстанции, тогда как *двух веков* немислимо вне грамматической цепи, ибо это падеж зависимой субстанции. Таким образом, чтобы дополнение «два века» получило бы не только синтаксическое оформление (случай с винительным падежом), но и морфологическое (родит. падеж «двух веков»), отрицательной частице *не* нужно обнаружить большую «электрическую силу» и вместе с глаголом оказать давление на дополнение, переводя его из винительного падежа в родительный. Когда же между отрицательной частицей и глаголом с одной стороны и дополнением — с другой оказываются промежуточные грамматические звенья (случай «не хочу ссорить два века», где «ссорить» разделяет эти два компонента), тогда «электрическая сила» отрицательной частицы оказывается недостаточной, она не достигает дополнения и как бы затухает, не коснувшись его.

Таким образом в этом тонком замечании Пушкина об отрицании *не* и последующем падеже дополнения поставлены важные лингвистические проблемы о зависимой и независимой субстанции в грамматике, о слове и предложении, о морфологическом и синтаксическом выражении грамматического подчинения, о синтаксической перспективе в предложении. Пушкин показывает, что слово, поскольку оно само по себе уже выражает понятие, мысль, идею, стремится и грамматически окануться в сравнительно независимой форме. Слово по отношению к предложению это своеобразный «Ванька-встанька»: стоит только грамматическим связям ослабеть, и слово сейчас же вырывается из этих связей, сейчас же переходит в падеж независимой или сравнительно независимой субстанции. Семантика слова, его лексическая самостоятельность, этого требуют. Конечно, винительный падеж — падеж объекта, т. е. зависимой субстанции, но в тех случаях, где винительный падеж формально совпадает с именительным, его грамматическая зависимость оказывается только синтаксической и, следовательно, по нормам флективных языков, уже несколько ослабленной.¹ «Два века» вне предложения это именительный падеж, т. е. падеж независимой субстанции, тогда как „двух веков” вообще оказывается невозможным вне контекста и всегда предполагает грамматическую зависимость. Эта возможность двойного выражения грамматической связи во флективных языках — морфологического и синтаксического — была тонко подмечена Пушки-

¹ Разумеется, в языках другой типологической системы эти нормы могут быть совсем иными.

ным и столь же тонко интерпретирована. В предложении отрицательной частице *не* и связанному с нею глаголу нужно проявлять тем бóльшую «электрическую силу» чтобы воздействовать на объект-дополнение, чем более независимым от отрицательной частицы и глагола оказывается этот объект-дополнение.

Независимо от практического значения этого знаменитого пушкинского правила,¹ оно интересно прежде всего своей теоретической стороной, стремлением поэта разобраться в сложных отношениях между словом и предложением. Самое существенное во всех грамматических рассуждениях Пушкина заключается в том, что поэт всегда видит в грамматических категориях смысловое содержание и рассматривает его в связи с различными способами выражения мысли.

Таковы в самых общих чертах основные принципы лингвистической концепции Пушкина. Мы убеждены, что уже к 1822 г. (статья о Даламбере и точности языка) у Пушкина сложилась последовательная система взглядов на язык, отдельные стороны которой глубоко между собою связаны. Думается, что в основных пушкинских суждениях о соотношении между мыслью и языком, о «метафизическом» языке, о точном слове, о народном языке и классовой окраске слова, о плохих и «истинных» метафорах, о проблеме контекста и учении о «соразмерности» речевых жанров, наконец, в его грамматических анализах, в постановке проблемы взаимодействия между словом и предложением — во всех этих вопросах Пушкин выступал как выдающийся мыслитель, вплотную подошедший к диалектическому пониманию языкового развития и тонко ощущавший ведущую роль содержания в языке. Пушкин показал зависимость различных способов выражения мысли от характера и сущности самой мысли. В этом глубокий смысл пушкинских суждений о языке, в этом их актуальность для нашей современности.² Пушкин замечателен не только как практик языка, создатель современного русского литературного языка, но и как мыслитель, теоретически осознававший значение языка в создании национальной русской культуры.

¹ О том, насколько сам Пушкин практически придерживался этого правила можно судить по следующему: П. В. Анненков в своем издании Пушкина (1855 г., т. V, стр. 531) в примечании к «Дубровскому» писал: «В четвертой главе романа Пушкин написал: отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения». В копии, приготовленной уже для типографии, кто-то исправил это место так: «отец его был не в состоянии дать ему нужных объяснений». Князь Вяземский сделал при этом случае на полях копии следующую заметку: напрасно исправлено: разумеется «дать нужные объяснения», ведь не сказано «не дать нужных объяснений». Отрицательная частица *не* здесь относится к *объяснениям*. . . Пушкин всегда следовал этому правилу».

Сам Пушкин иногда шутил над этим же правилом. Так, в «Египетских ночах» он писал (т. IV, стр. 225): «Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительный падеж вместо родительного после частицы *не* и еще кое-каких так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем). . .». В дальнейшей истории русского литературного языка это правило часто нарушалось. См. по этому поводу Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX века, том II, 1948, стр. 355—357.

² Многие пушкинские замечания о языке звучат сейчас поистине глубоко актуально. Такова, например, его отповедь по адресу тех, кто привык подсчитывать в русском языке одни только заимствованные слова: «Г. Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имеющих ни словесности, ни торговли, ни законодательства?... Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык» (т. V, стр. 16).

Проф. Н. Н. Степанов

ПУШКИН И СЕВЕР

В 1836 г. Пушкин писал:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и фин, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.

Великий поэт великого русского народа, Пушкин с глубоким вниманием и интересом относился к многочисленным народностям, населявшим Россию.

Будучи в ссылке на юге, поэт интересовался бытом и культурой молдаван и цыган («Цыганы» и др.). В равной мере привлекали внимание Пушкина и народности Кавказа, и в результате его посещений Кавказа появились сначала «Кавказский пленник», позднее «Тазит», «Путешествие в Арзрум» и др. Нашли отражение в творчестве Пушкина быт и культура и других народов России. На Севере Пушкину не пришлось быть, и, тем не менее, поэт живо интересовался и народностями, и историей, и колонизацией Севера и питал некоторые литературные замыслы, связанные с ним.

В 1937 г. в связи с юбилейной датой — столетия со дня смерти поэта — Востсибоблгизом был опубликован сборник «А. С. Пушкин и Сибирь» (Москва—Иркутск, 1937), где собран основной документальный материал и по теме «Пушкин и Север». В данной статье поэтому я не воспроизвожу вторично весь этот материал. Моя задача — наметить основные линии интересов Пушкина, связанных с Севером, и осветить некоторые принципиальные вопросы, лишь частично поставленные в указанном сборнике.

Опись книг Пушкина, составленная Б. Л. Модзалевским и дополненная Л. Б. Модзалевским, ярко свидетельствует о внимании и интересе поэта к Северу.¹

В библиотеке Пушкина имелись «Сибирский Вестник», специальный журнал, посвященный Сибири и Северу, издававшийся Г. И. Спаским, за 1818, 1819, 1820, 1821, 1822 и 1824 гг.; пять томов «Полного собрания ученых путешествий по России...», где были напечатаны труды Лепехина и Крашенинникова; труд Палласа «Путешествия по разным местам Российского государства...»; труд Шелехова о его

¹ Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина, СПб., 1910; Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина, Новые материалы. Литературное наследство, М., 1934, № 16—18.

«странствований по Восточному океану и Американским берегом в 1788 году» и т. д., и т. д.

Надо отметить, что Пушкин, несомненно, знал и работу А. Н. Радищева, посвященную Сибири и Северу: «Сокращенное повествование о приобретении Сибири». Этот труд А. Н. Радищева, написанный им в период ссылки (1791—1796), был впервые опубликован в VI т. «Собрания оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева» (1811). С работами А. Н. Радищева, как известно, Пушкин был знаком еще в лице.

Особо подчеркиваем знакомство Пушкина с этой работой Радищева, так как во взглядах на процесс колонизации Севера, как увидим ниже, Радищев и Пушкин были очень близки.

Знаком был Пушкин и с художественной литературой, посвященной Северу. Поэт знал романы И. Т. Калашникова, богатые этнографическими материалами, и писал о них автору: «Вы спрашиваете моего мнения о Камчадалке. Откровенность под моим пером может показаться вам простою учтивостью. Я хочу лучше повторить вам мнение Крылова, великого знатока и беспристрастного ценителя истинного таланта. Прочитав Дочь Жолобова, он мне сказал: «Ни одного из русских романов я не читывал с большим удовольствием. Камчадалка верно не ниже вашего первого произведения».¹ Под первым произведением Пушкин имел в виду роман Калашникова «Дочь купца Жолобова, Роман, извлеченный из иркутских преданий». Отмечу, что о последнем романе писал и В. Г. Белинский, указывая: «Г. Калашников, как видно из его романа, хорошо знает Сибирь и любит ее. Описания его часто бывают увлекательны и живы...»

В библиотеке Пушкина было и третье произведение Калашникова — повесть «Избранники», героем которой был купец Шалауров, отправившийся в 1762 г. из устья Колымы для исследования пути в Восточный океан.

С глубокой благодарностью и признательностью писал Калашников о внимании великого поэта к его произведениям: «...всякий раз я почти с благоговением внимаю, когда патриарх нашей словесности, муж и по уму, и по характеру, и по самой наружности, подобный мудрецам древности (я не смею именовать его), с величайшей добротой и мудростью, или старается одобрительною хвалою поощрить к новому труду, или умными наставлениями желает направить перо мое к благой цели. Краткие минуты, проведенные с ним, будут всегда для меня драгоценны».²

Известны были Пушкину и книги сибирского краеведа Н. С. Щукина «Поездка в Якутск» и «Посельщик. Сибирская повесть».

Знакомили Пушкина с Севером и его друзья — декабристы, сосланные в Сибирь. Так, в письме Пушкину от 12 февраля 1836 г. В. К. Кюхельбекер описывает свои впечатления о Забайкалье и его населении (тунгусы, буряты). Видимо, в связи с этим письмом Кюхельбекера нужно поставить и образ тунгуса в «Памятнике» Пушкина.

¹ Пушкин. Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, т. XV, 1948, стр. 59 (в дальнейшем все цитаты по этому изданию). Укажу, что А. В. Зигур в указанном выше сборнике, цитируя это письмо, дает только следующие строки: «Ни одного из русских романов не прочитывал я с большим удовольствием. Камчадалка не ниже Вашего первого произведения» («Пушкин и Сибирь», стр. 103), в силу чего отзыв Крылова и мнение Пушкина сливаются вместе в единый пушкинский отзыв.

² «Пушкин и Сибирь», стр. 106, Востсибоблгиз, М.—И., 1937.

Знакомы были Пушкину и очерки А. А. Бестужева «Сибирские нравы. Исых» и его стихотворение «Саатырдь. Якутская баллада».

С Севером были связаны у Пушкина и некоторые литературные замыслы, получившие лишь частичное отражение в его творчестве.

Большой интерес проявлял поэт к образу Ермака.¹ В письме Н. И. Гнедичу 23 февр. 1825 г. Пушкин писал: «Я жду от вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается не воспетая, писали вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарской? История народа принадлежит поэту».² Несколько ранее в 1824 г., поэт записывает «Воображаемый разговор с Александром I», который заканчивается следующим образом: «Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне (Александр I.—Н. С.) много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму Ермак или Кочум русским размером с рифмами».³

О намерениях Пушкина писать поэму об Ермаке было известно и его друзьям и знакомым. Е. А. Баратынский в январе 1826 г. пишет Пушкину: «Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтической, достойный тебя. Говорят, что, когда это известие дошло до Парнасса, и Камюэнс вытаращил глаза. Благослови тебя бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг».⁴

Пушкин не написал поэмы об Ермаке, но интерес к нему не покидал поэта до конца его жизни. 17 июля 1835 г. В. Д. Соломировский пишет в ответ на недошедшее до нас письмо Пушкина: «Ты просил меня писать тебе о Ермаке, предмет, конечно любопытный, но помышляя о поездке для розысков сего воителя, я досель сижу дома».⁵

Нам неизвестен в деталях сам замысел Пушкина, но, как рисовал себе поэт образ Ермака, можно представить по сохранившимся материалам. Ермак рисовался Пушкину героем, достойным «эпической поэмы», стоящим в одном ряду с такими деятелями русской истории, как Владимир, Мстислав, Дмитрий Донской и Пожарский.

Позже, в конспекте книги Крашенинникова поэт назовет Вл. Атласова «Камчатским Ермаком», а в наброске статьи по истории Камчатки нарисует образы русских землепроходцев и воителей на Севере. О них Пушкин пишет, как о смелых сподвижниках Ермака, которые, несмотря на «неимоверные препятствия и опасности» устремлялись вперед «посреди враждебных и диких племен» и «бесстрашно селились между ними в своих жалких острожках».

Н. В. Цейтц в указанной статье подробно показывает, как детально знаком был Пушкин с многочисленными литературными обработками сюжета об Ермаке (И. И. Дмитриев, К. Ф. Рылеев, А. С. Хомяков и др.). Истоки пушкинского понимания образа Ермака восходят, однако, не к этим литературным обработкам, а к работе, оставшейся в статье

¹ Подробный обзор высказываний Пушкина об Ермаке и их анализ дан в статье Н. В. Цейтц, К истории неосуществленного замысла Пушкина об «Ермаке», «Пушкин, Временник Пушкинской комиссии», 1939, № 4—5, М.—Л., стр. 386—396

² А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIII, Переписка 1815—1827, 1937, стр. 145.

³ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI, Критика и публицистика 1819—1834, 1949, стр. 24.

⁴ Там же, т. XIII, стр. 254.

⁵ Там же, т. XVI, Переписка 1835—1837, 1949 стр. 40.

Н. В. Цейтц в тени, — к «Сокращенному повествованию о приобретении Сибири» А. Н. Радищева.¹

Пушкинская трактовка Ермака и ряда последовавших за ним землепроходцев на Севере в основных чертах совпадает с трактовкой Радищева, и это не случайно, так как истоки пушкинского понимания русской истории во многом восходят к Радищеву.² Радищев писал об Ермаке «с его товарищами» и о «всех участвовавших в произведенных после его завоеваниях Сибири, даже до самые Америки»: «Но здесь имеем случай отдать справедливость народному характеру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ Российский».³

Русская колонизация Севера, Ермак и его «сподвижники» и продолжатели — такова первая большая тема, которая заинтересовала Пушкина.

Второй большой темой, которая привлекала внимание поэта, явилась тема о быте и культуре коренных насельников Севера. Тема эта тесно связана с общим интересом Пушкина к ранним ступеням развития человеческого общества. Ярко этот интерес нашел отражение в такой статье, как «Джон Теннер», посвященной запискам Теннера, прошедшего 30 лет среди американских индейцев.

Пушкин ценил эти записки как документ, рисующий правдиво быт и культуру северо-американских индейцев. «Нравы северо-американских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов», — писал он. «Но Шатобриан и Купер оба представили нам индийцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения. «Дикари, выставленные в романах», — пишет Вашингтон Ирвинг, — «так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных». Это самое подозревали читатели; и недоверчивость к словам заманчивых повествований уменьшала удовольствие, доставляемое их блестящими произведениями».

В противоположность романам Шатобриана и Купера «Записки» Теннера для Пушкина «драгоценны во всех отношениях». Поэт так характеризует этот документ: «Они самый полный, и вероятно последний, документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека...».⁴

Народности Севера для Пушкина были столь же характерны для ступени «естественного состояния человека», как и северо-американские индейцы.

¹ Н. В. Цейтц лишь глухо в примечании указывает: «Перечитывая для этой статьи («Александр Радищев». — Н. С.) «Собрание оставшихся сочинений А. Радищева» 1807—1811, Пушкин читал там и отрывок неизданной статьи Радищева «Сокращенное повествование о приобретении Сибири». «Пушкин, Временник Пушкинской комиссии», 1939, № 4—5, М.—Л., стр. 395, примеч. 3. Пушкин с этим изданием Радищева был знаком, как хорошо известно, будучи еще лицеистом.

² См. нашу брошюру «Исторические воззрения А. С. Пушкина», Л., 1949, где схематично прослежена связь и преемственность исторических взглядов Пушкина со взглядами Радищева.

³ А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. II, М.—Л., 1941, стр. 146, 147. В этой же работе (стр. 151) Радищев писал: «Но сколь ни благоприятствовали обстоятельства Ермаку в его завоеваниях, надлежит справедливость отдать ему и его товарищам, что неустрашимость, расторопность, твердость в преследовании предпринятого намерения были им свойственные качества».

⁴ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XII, Критика, Автобиография, 1949, стр. 105.

Весьма показательны в этом плане черновые наброски «Цыган», не включенные Пушкиным в печатный текст.

Бледна, слаба Земфира дремлет —
Алеко с радостью в очах
Младенца держит на руках.
И крику жизни жадно внемлет.
«Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоцененный дар свободы!..
Останься посреди степей.
Безмолвны здесь предрассудженья
И нег их раннего гоненья
Над дикой люлькою твоей.
Расти на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат,
И не меняй, простых пороков
На образованный разврат.

От общества, быть может, я
Отъемлю ныне гражданина —
Что нужды — я спасаю сына —
И я б желал, чтоб мать моя
Меня родила в чаще леса,
Или под юртой остяка.
(Или) в расселине утеса.¹

Так противопоставил в этом отрывке поэт «естественное состояние человека», представителей которого он видел в остяках, с его свободой и «простыми пороками», — культуре и цивилизации с его «образованным развратом».

Исходя из этого, легко понять тот интерес, который проявил Пушкин к «Описанию земли Камчатки» Крашенинникова.

«Описание земли Камчатки» Крашенинникова явилось для Пушкина тем же документом, что и «Записки» Теннера, документом о быте и культуре примитивных народностей.

Пушкин тщательно законспектировал все четыре части «Описания земли Камчатки», разделив конспект на два раздела. Первый раздел носит название «О Камчатке», здесь законспектированы данные из всех четырех частей, относящиеся к географии Камчатки и быту ее населения; второй раздел специально посвящен истории Камчатки и имеет название «Камчатские дела. (От 1694 до 1740 года)».

Исследователи, изучавшие этот конспект Крашенинникова, обычно сосредоточивали свое внимание на втором разделе, обходя вниманием первый.² Вряд ли это правильно. Оба раздела конспекта представляют значительный интерес, и вместе они полно отражают две основные северные темы, интересовавшие Пушкина, — тему о культуре и быте коренных насельников Севера и тему о русском продвижении на Север.

В первом разделе Пушкин конспектирует далеко не сплошь текст Крашенинникова. Конспект носит выборочный характер. Видимо, Пушкин записывал лишь то, что особенно привлекало его внимание, и то, что он предполагал использовать для последующей работы.

«Камчатская земляца (или Камчатской нос) начинается у Пустой реки и Анапка в 59° широты — там с гор видно море по обеим сторонам. Сей узкой перешеек соединяет Камчатку с матерой землею. — Здесь грань

¹ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. IV, 1937, стр. 444—446.

² Только второй раздел конспекта разбирается и в моей статье — «С. П. Крашенинников как историк Камчатки», «Советский Север», 1939, № 2, стр. 116.

п р и с у д у Камчатских острогов: выше начинается Заносье (Анадырской присуд)».¹ Так начинается первый раздел конспекта. Заносье в конспект данные по географии Камчатки, Пушкин вносит в конспект и значительный материал по быту и культуре коренных насельников Камчатки.

Общая его характеристика уровня культуры коренных насельников Сибири видна из следующей записи: „ Steller междуусобии камчадалов, III—68 (NBПервобытное состояние)».² Запись Пушкина относится к следующему тексту из работы Крашенинникова: «Господин Стеллер причиною междуусобных браней тамошних народов ненависть же и роскошь объявляет, но с некоторыми особливими обстоятельствами, которые сообщим здесь в дополнение.

Хотя, — пишет он, — в Камчатке главного начальника прежде и не было, но всяк жил по своей воле; однако две внутренние страсти ненависть и роскошь причиною были, что камчадалы сами свой покой и мирное житие отвергали, и тем время от времени больше умалялись, и приходили в изнеможение. К неприятельским действиям побуждали их женщины, властолюбие и всякие домовые вещи и уборы. Но чтоб каждой мог неприятелю противиться, то поддавались они старшим, храбрейшим и умнейшим людям, и по одержании некоторых побед начальникам своим оказывали такую любовь, какая потребна была к намерению их, чтоб мщением, получением добычи и равномерным ее разделением укрепиться во своей власти. Чего ради и между сими народами есть знаки, что они имели в мысли своей нечто высочайшее, то есть чтоб быть владетелями: отчего наконец последовало одного народа разделение на разные, и учинились многие равносильные стороны».³

Замечателен тот факт, что термина «первобытное состояние» у Крашенинникова нет. Это обобщение Пушкина, сделанное на основе материалов Крашенинникова, — обобщение, характеризующее его оценку уровня культуры коренных насельников Камчатки к моменту прихода туда русских.

Пушкиным конспектируются данные и по языку, и по занятиям и по материальной культуре, и по верованиям. «Острожек Коряцкий окружен земляным валом (вышиной 1 сажень, шириной 1 аршин). Внутри двойной частокол, к нему приставлены двойные жерди. В каждой стене две бойницы (?). Вход с трех сторон — (кроме южной). Крашенинников видел сей первый укрепленный Острог. Другие были — земляная юрта, балаганами окруженная».⁴ Так конспектирует Пушкин данные о жилищах коряков. Любопытна следующая его запись: «Молния редко видима в Камчатке. Дикари полагают, что гамулы (духи) бросают из своих юрг горящие головешки.

Гром, по их мнению, происходит от того, что Кут лодки свои с реки на реку перетаскивает, или что он в сердцах бросает оземь свой бубен.

Смотри грациозную их сказку о ветре и о зарях утренней и вечерней (ч. II—168)».⁵ Подчеркиваем, что эпитет «грациозный» принадлежит Пушкину, его нет у Крашенинникова. Так великий русский поэт оценил своеобразную прелесть северного фольклора.

Для лучшего понимания пушкинской оценки северного фольклора приводим сказку, о которой говорит Пушкин, в изложении Крашенинникова.

¹ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. X, 1938, стр. 343.

² Там же, стр. 348.

³ Крашенинников. Описание земли Камчатки, т. II, СПб., 1755, стр. 68.

⁴ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. X, 1938, стр. 345.

⁵ Там же, стр. 346.

«Когда их спросишь, от чего ветер рождается? отвечают за истину от Балакитга, которого Кутха в человеческом образе на облаках создал, и придал ему жену Завина — Кугагт именем. Сей Балакитг, по их мнению, имеет кудрявые предолгие волосы, которыми он производит ветры по произволению. Когда он пожелает беспокоить ветром какое место, то качает над ним головою столь долго и столь сильно, сколь великой ветр ему понравится, а когда он устанет, то утихнет и ветер, и хорошая погода последует. Жена сего камчатского Еоля в отсутствие мужа своего завсегда румянится, чтоб при возвращении показаться ему краснейшею. Когда муж ее домой приежжает, тогда она находится в радости; а когда ему заночевать случится, то она печалится и плачет о том, что напрасно румянилась: и от того бывают пасмурные дни до самого Балакитгова возвращения. Сим образом изъясняют они утреннюю зорю и вечернюю, и погоду, которая с тем соединяется, философствуя по смешному своему разуму и любопытству, и ничего без изъяснения не оставляя».¹

Разительна коренная противоположность подхода Крашенинникова и Пушкина к этой сказке. Если для типичного рационалиста XVIII в. Крашенинникова эта сказка — пример того, как камчадалы, «философствуя по смешному своему разуму и любопытству», «ничего без изъяснения не оставляют», то для великого народного поэта она — образец народной поэзии коренных насельников Камчатки.

Иной характер носит второй раздел конспекта. Последовательно, страница за страницей, конспектирует Пушкин историческую часть труда Крашенинникова, группируя материал по небольшим параграфам.

Судя по этой части конспекта, наибольшее внимание Пушкина привлекли открытие и завоевание Камчатки и связанные с ними личности Федота Алексеева и Владимира Атласова, а также восстание ительменов в 1731 г.

«Первый из русских, посетивших Камчатку, был Федот Алексеев: по его имени Никул-река называется Федотовщиною», — записывает Пушкин и далее подробно отмечает его путь, данные отписки С. Дежнева об Алексееве и соображения Крашенинникова о нем.²

Еще более подробно конспектирует Пушкин материал о походах Атласова и судьбе самого Атласова. В § 40 поэт рассказывает об убийстве Атласова, заканчивая рассказ следующей фразой: «Так погиб камчатский Ермак.»³ Это сравнение Атласова с Ермаком принадлежит самому Пушкину, у Крашенинникова его нет.

Интересна запись Пушкина и о гибели Анцыфорова, сожженного ительменами в балагане вместе со своими аманатами. «Узнав о его скором прибытии на Авачу, устроили они пространный балаган с тайными подъемными дверями. Они приняли его с честью, лаской и обещаниями: дали ему несколько аманатов из лучших своих людей и отвели ему балаган. На другую ночь они сожгли его. Перед зажжением балагана они приподняли двери и звали своих аманатов, дабы те скорее побросались вон. Несчастные отвечали, что они скованы и не могут тронуться, но приказывали своим товарищам жечь балаган и их не щадить, только бы сгорели казаки.

¹ С. П. Крашенинников. Описание земли Камчатки, т. I, СПб, 1755, стр. 168, 169.

² А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. X, стр. 350.

³ Там же, стр. 351.

Так погиб храбрый Анцыфоров, может быть, предупредя заслуженную казнь и оставя по себе громкую память и поговорку (см. IV—210): «На Камчатке проживешь здорово семь лет, что ни сделаешь; а семь лет проживет, кому бог велит».¹

Большой материал в конспекте дан о восстании ительменов в 1731 г. Пушкин отметил в конспекте все этапы и детали восстания. Привлекала внимание Пушкина и личность вождя восстания 1731 г. Федора Харчина, причем одна яркая деталь в образе Харчина настолько поразила поэта, что он выделил ее даже в особый параграф: § 79. «За ним пустилась погоня: но он так резво бегал, что мог достигать оленей. Его не догнали».² Изложение событий, связанных с восстанием 1731 г., Пушкин заканчивает описанием работы следственной комиссии, назначенной правительством для расследования причин восстания. «Якутского полку майор Мерлин прибыл вскоре на Камчатку. Он и Павлуцкий жили там до 1739 г. Они построили Нижний Камчатский острог ниже устья Ратуги. Им поручено следствие. Иван Новгородов, Андрей Штинников и Сапожников повешены, также и человек шесть камчадалов. Прочие лазакки высечены, кто кнутом, кто плетьюми.

Камчадалы, бывшие у них в крепостной неволе, отпущены на волю, и впредь запрещено их кабалить».³

Пушкинский конспект «Описания земли Камчатки» стоит в тесной связи с планом статьи Пушкина о Камчатке и сохранившимся кратким наброском начала самой статьи. В плане статьи стоит: «Сибирь уже была покорена. Приказчики услыхали о Камчатке.

Описание Камчатки. — Жители оной. — Федот Кочевщик. — Атласов, завоеватель Камчатки».

Таким образом, судя по плану, в статье Пушкин собирался осветить обе интересовавшие его темы, связанные с Севером: и тему о быте и культуре коренных насельников Севера и тему о русской колонизации Севера. И конспект Крашенинникова и план статьи о Камчатке датируются началом 1837 г. Смерть помешала Пушкину осуществить его замыслы. Сохранилось лишь краткое начало статьи, раскрывающее, однако, ясно понимание Пушкиным процесса русского продвижения на Север.

«Завоевание Сибири постепенно совершалось. Уже все от Лены до Анадыри реки, впадающие в Ледовитое море, были открыты казаками, и дикие племена, живущие на их берегах или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака. Явились смельчаки, сквозь невероятные препятствия и опасности устремлявшиеся посреди враждебных диких племен, приводили (их) под высокую царскую руку, налагали на их ясак и бесстрашно селились между ими в своих жалких острожках».⁴

Строки пушкинского «Памятника» явились вещими. Пророчество Пушкина сбылось в наши дни.

Великая Октябрьская социалистическая революция возродила к новой жизни угнетенные в царской России народы Севера.

Под руководством партии Ленина-Сталина, при поддержке братского русского народа народы Севера проделали за 30 лет грандиозный

1 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. X, стр. 358.

2 Там же, стр. 365.

3 Там же, стр. 366.

4 Там же, стр. 367.

и невиданный дотоле в истории скачок от первобытно-общинных отношений к социалистическому обществу. В корне изменилась вся экономика народов Севера. Расцвела культура народов Севера, национальная по форме, социалистическая по содержанию. Создана письменность у народов, ранее не имевших ее. Вышли в переводах на национальные языки биографии Ленина, Сталина, Конституции СССР и РСФСР, произведения Пушкина, Горького. Выросла своя национальная интеллигенция. Народы Севера приобщились к достижениям русской культуры и культуры других народов Советского Союза.

Пушкин стал в наши дни у народов Севера любимейшим писателем и источником вдохновения и творчества поэтов молодой литературы народов Севера.

Произведения Пушкина переведены на языки всех народов Севера, на ненецкий — «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и о работнике его Балде»; на хантыйский — «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Станционный смотритель»; на мансийский — «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Станционный смотритель»; на эвенкийский — «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Станционный смотритель», «Дубровский», «Памятник»; на эвенский — «Сказка о попе и о работнике его Балде» и «Сказка о рыбаке и рыбке»; на нанайский — «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Дубровский», «Станционный смотритель»; на корякский — «Станционный смотритель», «Метель».¹

Произведения Пушкина в переводах на языки народов Севера включены в книги для чтения для учащихся северных школ.

В северных школах читают произведения Пушкина и на русском языке. Привожу описание чтения Пушкина в одной из северных школ. Оно чрезвычайно рельефно передает любовь к Пушкину северных школьников. «На одну из первых же громких читок, устроенных в эвенкийской школе, учитель принес книжку А. С. Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде». Гениальная простота, подлинная народность пушкинской сказки делают ее понятной и близкой самым неискушенным слушателям. В этом еще раз убедился учитель. Он читал наизусть, часто поглядывая на лица детей — все ли доходит? В жарко натопленном классе на передних партах неподвижно застыли десять маленьких эвенков. На столе тускло горела керосиновая лампа.

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
На встречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.

Учитель читал и слегка волновался за Пушкина. Перед ним сидели эвенки, т. е. по старому названию, тунгусы — те тунгусы, о которых поэт ровно сто лет назад писал в своем завещании «Памятник»:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой.
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и фин, и ныне дикой
Тунгуз...

Чтение сказки было первым знакомством его учеников с Пушкиным. И выбор учителя оказался как нельзя более удачным для первого

¹ О переводах Пушкина на северные языки см. статью М. Воскобойникова «Пушкин на языках народов Севера» — Звезда 1949 г. № 6.

знакомства. Маленькие эвенки ничего не переспрашивали, ничем не затруднялись. Простодушный народный юмор, плакатно очерченные образы, выразительный в его предельной скупости язык — все дошло до их понимания. Дети дружно хохотали, когда в конце сказки

Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелчка
Прыгнул поп до потолка...¹

В северных школах устраивают специальные литературные чтения, посвященные Пушкину.

В качестве образца приведем программу одного литературного утренника, проведенного преподавателем русского языка и литературы в 1936 г. в неполной средней школе при Чукотской культбазе залива Лаврентия.

ПРОГРАММА

1. Краткий доклад на тему: «А. С. Пушкин, его жизнь и творчество» на родном языке (юйтском).
Докладчик Ктуге (юит).
2. Краткий доклад на ту же тему на родном языке (луораветланском).
Докладчик Теюнкеу (луораветлан).
3. Песню «Узник» исполнит хор VI класса.
4. Декламация стихов:
 - а) стих. «Зимняя дорога» исп. уч. Акукин (юит).
 - б) стих. «Зимний вечер» исп. уч. Ари (юит).
 - в) стих. «Цыганы» исп. уч. Тарупхина (луораветланка).
 - г) стих. «Цыганы» исп. уч. Тарупхина (луораветланка).
 - д) стих. «Сказка о попе и о работнике его Балде» исп. уч. Талако (юит).
 - е) стих. «Золото и булат» исп. ученики Теюнкеу (луораветлан) и Насалик (юит).
 - ж) стих. «Узник» исп. уч. Ктуге (юит).

Ответственный за утренник преподаватель *Красинская*.²

Дети народов Севера, будучи на школьной скамье, мечтают стать техниками и инженерами, врачами и учителями, летчиками и танкистами. А некоторые из них мечтают стать поэтами. Вот что написал один из учащихся VI класса Койминской неполной средней ульчской школы в 1936 г. в сочинении на тему „Кем я хочу быть“: „Под влиянием книг, прочитанных мною, я все больше и больше думаю о том, не могу ли я стать таким писателем, как А. С. Пушкин. Кто может сказать, что это не случится“.³

Образ Пушкина занимает видное место в молодой национальной литературе народов Севера. Пушкину посвящены стихи и песни поэтов эвенков — Чинкова, Платонова, эвена Тарабукина, удэгэ Джанси Киманко, наная Акима Самара.⁴

Привожу стихотворение А. Платонова «Пушкину» в переводе ленинградского поэта Глеба Семенова:

¹ А. Г. Базанов, Н. Г. Казанский. Школа на Крайнем Севере, Л., 1939, стр. 185—186.

² Там же, стр. 186.

³ Там же, стр. 193.

⁴ Алексей Платонов. Аякул стихилин, давлауриин (Избранные стихотворения и песни), ЛО 1940; Алексей Платонов. Эвенки давлауриин (Песни эвенка), Л., 1938; Николай Тарабукин. Мэнгэн асаткан дэгэдекэн. Эведыл икэл. (Полет золотой девушки. Эвенские стихи), Л., 1937; Аким Самар. Стихсэл (стихи), Л., 1940 и др. сборники.

Нерукотворный «Памятник»
 Мне ясно говорит,
 Что ты, великий Пушкин,
 Слышишь наши песни.
 Ты, Пушкин, погляди
 На «дикого тунгуса» —
 Ведь это я — звенк,
 Навек теперь свободный.
 Я землякам в колхозе
 Стихи твои читаю.
 Слова твои звенящие
 Над Севером летят.
 И счастьем прорастает
 Таежная земля,
 Твое, твое пророчество
 Сбылось, великий Пушкин.

Стихи Пушкина стали близкими и родными народам Севера.

На Малмыжском утесе стою,
 Весеннюю песнь пою.
 Книгу в руках держу,
 Стихи Пушкина читаю,¹

пишет Аким Самар в стихотворении «Весенний Амур».

Пушкин равно близок — и молодым и старым,

Жадно читали песни его.
 Девушкам понравились,
 Сердца их забились.
 Волосы приглаживали и шептали:
 «Пушкин, Пушкин».
 Старые старики думали,
 Лбы свои подпирая,
 Бороды свои разглаживая,
 «Великий человек» говорили.
 Великому Пушкину
 Великое имя дали,
 Великим писателем назвали,
 Как солнце, Пушкин стал, —

пишет звенк Тарабукин.²

Так в наши дни творчество Пушкина и самый его образ служат не-
 иссякаемым источником поэзии для молодой национальной литературы
 народов Севера.

¹ Аким Самар. Стихсэл, Л., 1940, стр. 104 (перевод А. Путинцевой).

² Николай Тарабукин. Мэнгэн асаткан дэгэдэкэн, Л., 1937, стр. 42—45.
 (В сборнике перевода на русский язык нет; перевод для данной статьи сделан кандидатом филологических наук К. А. Новиковой, которой и приношу глубокую благодарность.)

Канд. филол. наук К. Н. Григорьян

ПУШКИН И АРМЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Новая армянская поэзия развивалась под непосредственным благотворным влиянием передовой русской литературы. Один из выдающихся армянских поэтов конца XIX — начала XX века Александр Цатурян говорил об огромном влиянии русских поэтов на развитие новой армянской литературы. По его мнению, трудно назвать армянского писателя, который так или иначе не подпал бы под это влияние. Каждый из армянских писателей и общественных деятелей по-своему любил русскую литературу и в своем творчестве в той или другой форме отразил ее высокие идеалы. «На одних отразилось сильнее, ярче, — писал Цатурян, — других оно коснулось не так сильно, не так заметно, но никто из них, думаю, не миновал этого влияния». Так думал не только Цатурян, но и величайший поэт армянского народа Ованес Туманян. Он считал, что Армения многим обязана русской литературе.

Наиболее сильное влияние на развитие армянской поэзии оказали Пушкин, Лермонтов и вслед за ними гражданская муза Некрасова. В сложном процессе освоения богатого наследия русской поэзии рядом с Пушкиным всегда и неизменно выступал Лермонтов. Многие из армянских поэтов воспринимали эти два имени в едином звучании.

Интерес к творчеству Пушкина в армянской общественной жизни возник еще при жизни поэта. Первым переводчиком Пушкина на армянский язык был известный ученый филолог Н. О. Эмин. Будучи еще воспитанником Лазаревского института восточных языков в Москве, он проявил незаурядные литературные способности. В краткой записке к третьему тому «Собрания актов, относящихся к обозрению истории армянского народа» сохранились следующие сведения: «Никита Эмин перевел с русского на армянский язык в стихах: Бахчисарайский фонтан и Кавказский пленник сочинения А. С. Пушкина. Переводы эти вскоре будут изданы и тогда Певец Фонтана и Пленника будет известен в разных странах Азии, населенных армянами».¹ Несмотря на обещание, эти первые переводы, выполненные еще при жизни Пушкина, к сожалению, не были опубликованы.

После окончания Лазаревского института Н. О. Эмин в течение многих лет был преподавателем этого Института.

Ученики Н. О. Эмина по Лазаревскому институту, впоследствии выдающиеся армянские поэты: Рафаэл Патканян, Смбат Шах-Азиз, Георг Додохян, первым знакомством с лучшими произведениями русской поэзии были обязаны прежде всего своему учителю. Н. О. Эмин очень

¹ Часть 3-я. Москва, 1838, стр. 220.

часто во время лекций любил читать Пушкина и Лермонтова и прививал вкус и любовь к русской поэзии.¹

Судя по всему, в 30—40-х годах среди определенного круга преподавателей и слушателей Лазаревского института интерес к русской поэзии и в частности к Пушкину и Лермонтову был значительный. Не случайным является тот факт, что автор первого печатного сборника переводов из русской поэзии Ованес Амазаспян был также воспитанником Лазаревского института. Он в 1843 г. в Москве издал сборник «Переводов в прозе и в стихах с русского на армянский язык из Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Баратынского и Гнедича».² В этом сборнике были помещены параллельно с русскими текстами переводы десяти стихотворений Пушкина: «Русалка», «Земля и море», «Не дай мне, бог, сойти с ума», «И путник усталый на бога роптал», «С тобою древле, о всесильный», «Пророк», «Похоронная песня» («С богом, в дальнюю дорогу...»), «Соловей», «Туча», «Кавказ».

Амазаспян перевел стихотворения Пушкина на древнеармянский язык, так называемый «грабар», который был тогда официальным языком литературы. В сборнике Амазаспяна некоторые переводы не лишены поэтических достоинств, но в силу того, что они были на «грабаре», который резко отличается от живой народной речи, они были доступны лишь ограниченному кругу читателей.

Во второй половине 50-х годов в армянской общественной жизни возрастает интерес к русской литературе. В эти годы одним из пропагандистов русской культуры был выдающийся представитель революционно-демократической мысли в армянской литературе и публицистике, последователь Герцена и Чернышевского — Микаэл Налбандян. В его ранних стихотворных опытах легко обнаружить явные следы влияния поэзии Пушкина и Лермонтова. В начале 50-х годов он перевел «Черкесскую песню» из поэмы Пушкина «Кавказский пленник»; стихотворения Лермонтова: «Пророк», «Ветка Палестины» и «Спор».³ Особый интерес представляет стихотворение Налбандяна «Поэт»,⁴ написанное на мотивы двух пушкинских стихотворений: «Поэт» и «Поэту». Подражая русским оригиналам, он развивает тему независимости, неподкупности поэта. Он подчеркивает мысль о высоком назначении поэта, мысль о том, что труден и тернист его путь. Но чтобы ни ожидало поэта, какие бы тяжелые испытания ни выпали на его долю, он должен служить «священной правде». В заключительных строках уже можно видеть будущего революционера и автора знаменитого стихотворения «Свобода»:

Свобода! — и пускай враги
Ждут, гибелью грозя!
Пускай огонь, пускай ни зги,
Пускай ревет гроза!
До виселичного столба
Я руку к ней тяну,
Свободу милую любя,
Одну ее, одну.⁵

¹ Р. Патканян. Воспоминания о проф. Н. Эмина. Соч. Н. О. Эмина (на арм. яз.). В приложениях материалов для биографии Н. О. Эмина. М., 1898, стр. 210.

² Москва. В типографии Лазаревского института восточных языков, 1843, стр. 54—85. Здесь же были помещены два перевода из Лермонтова: «Ангел» и «Сосна».

³ Все эти переводы были опубликованы после смерти Налбандяна. Более точные, проверенные и полные тексты переводов см. Микаэл Налбандян. Полн. собр. соч. (на арм. яз.), т. I, комментарий Ншана Мурадяна, Изд. Акад. наук Армянской ССР, Ереван, 1945, стр. 24, 35, 37—38, 45—46.

⁴ Там же, стр. 40.

⁵ Антология армянской поэзии. Гослитиздат, М., 1940, стр. 364—365.

Эти строки перекликаются с пушкинскими стихами из поэмы «Кавказский пленник»:

Свобода! Он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.

Совпадение отнюдь не случайное. Судя по ранним стихотворным опытам, южные поэмы и гражданская лирика Пушкина оказали несомненное влияние на формирование литературных воззрений Налбандяна.

В пропаганде Пушкина и Лермонтова известную роль сыграл и издававшийся в Москве армянский журнал «Юсисапайл» («Северное Сияние»). На его страницах появился первый перевод «Демона» Лермонтова. Здесь же были помещены вольные переводы двух лирических стихотворений Пушкина: «Я пережил свои желанья. . .» и «Я вас любил». ¹ Автору переводов — Г. Бархударяну не удалось преодолеть те исключительные трудности, с которыми встретится каждый, кто поставит перед собою задачу воссоздания на другом языке неповторимых образов пушкинской лирики.

В конце 50-х годов появляется первый армянский перевод Пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». В 1858 г. на страницах издававшейся в Тифлисе еженедельной газеты «Мегу Айастани» («Пчела Армении») был напечатан вольный перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» без указания имени Пушкина и с изменением заглавия: «Рыбка и рыбак». ²

Переводчик Ованес Багдасарянц с незначительными пропусками пересказал в прозе содержание сказки, придерживаясь текста русского оригинала.

Если при первом армянском переводе «Сказки о рыбаке и рыбке» не было указано имени Пушкина, то при втором переводе, появившемся на страницах той же газеты через пять лет, в 1863 г., не было даже указано, что она является переводом. ³ Второй перевод был стихотворным, но плохими стихами и на тифлисском диалекте. И в этом, как и в первом, случае имел место простой пересказ с существенными отклонениями от оригинала.

Автор анонимного перевода, начиная с заглавия, отважился на собственную интерпретацию темы пушкинской сказки и внес немало отсбятин. Сказку он озаглавил «Жена рыбака». И это не случайно. Переводчик решил, что во всем виновата злая и жадная старуха, и он дополнил текст сказки характеристикой жены рыбака. Она, «хотя и стара, но беспокойна и хлопотлива», терзает мужа постоянными жалобами и укорами. Старик не имеет покоя от сварливой жены. «Жить с дурной и глупой женой ведь хуже, чем быть в аду». Последний раз, когда рыбак идет к золотой рыбке, он жалуется на свою злую старуху:

Ох, золотая рыбка, не говори,
В какую я попал страшную беду.
Придет ли тот счастливый день,
Когда избавлюсь от злой жены?..

Все эти мотивы отсутствуют в тексте пушкинской сказки, и они являются «украшениями» собственной мысли переводчика. Однако он не только прибавил, но и опустил в своем переводе некоторые детали оригинала.

¹ «Юсисапайл» (на арм. яз.), М., 1860, № 6, стр. 432—433.

² «Мегу Айастани» (на арм. яз.), Тифлис, 1858, 19 апр., № 16, стр. 127—128.

³ Там же, 1863, 11 мая, № 13, (стр. 135—136). Имени переводчика не указано.

У Пушкина, когда старуха побранила рыбака и в первый раз он пошел к золотой рыбке, тогда «море слегка разыгралось»; второй раз: «помутилось синее море»; третий раз было «не спокойно синее море»; четвертый раз: «почернело синее море» и, наконец, пятый, последний раз, когда старик пошел на берег и начал звать золотую рыбку, то на море «вздулись сердитые волны» и бушевала «черная буря». Характерно и глубокозначительно это символическое нарастание гнева «синего моря». Эти замечательные пейзажные детали, имеющие свое строго определенное место в идейной и художественной концепции сказки, исчезли и в первом, и во втором армянском переводах. Лишь спустя более двадцати лет, в 1884 г. появился новый, по счету третий, перевод¹ «Сказки о рыбаке и рыбке», который принадлежал известному армянскому писателю и публицисту Газаросу Агаяну. Стихотворный перевод Агаяна, близкий по духу, по простоте и ясности языка к пушкинскому оригиналу, вскоре стал один из любимейших произведений армянских детей.²

Начиная с Смбата Шах-Азиза, особенно ярко ощущается благотворное влияние Пушкина на развитие армянской поэзии. Шах-Азиз сам говорил: «Из русских поэтов наиболее сильное впечатление произвели на меня, конечно, Пушкин и Лермонтов!.. Пушкиным я всегда увлекался, прежде всего, — как разносторонним и правдивым поэтом-художником, творчество которого представляет собою для отзывчивого читателя как бы прекрасный цветущий сад, блестящий райской красотой. Посмотрите, как он описывает разнообразную природу, как он умеет воспевать любовь, сколько изящества и богатства красок в его лучших произведениях!..» Эти восторженные строки говорят о преклонении Шах-Азиза перед русским поэтическим гением, и влияние пушкинской музыки на творчество армянского поэта можно проследить с самого начала его литературной деятельности. В 1860 г. в Москве вышел первый сборник стихотворений Шах-Азиза: «Часы досуга». Здесь были помещены стихи, написанные под непосредственным впечатлением чтения Пушкина, а некоторые из них представляли перепевы отдельных мотивов пушкинской лирики. Шах-Азиз говорит: «В моих «Часах досуга» я уже пробовал, как умел, подражать Пушкину, — перевел его стихотворение «Кубок янтарный», сделал в некоторых случаях отдельные его стихи эпиграфами к моим собственным вещам, написанным под его влиянием». Шах-Азиз в этом случае допустил некоторую неточность. Трудно назвать его «Песню» переводом пушкинского стихотворения «Кубок янтарный». На самом деле Шах-Азиз написал в подражание Пушкину национальную застольную песню, в которой воспеваются «армянский народ», «девы и сыны Армении».

То, что видим у Шах-Азиза, — характерное явление для некоторых кавказских переводчиков Пушкина. У грузинского поэта С. Размадзе в переводе отрывка из VII гл. «Евгения Онегина».

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве —

Москва заменяется Тифлисом. Еще более показательны стихотворение Вахтанга Орбелиани, являющееся подражанием «Зимнему вечеру»,

¹ Е. А г а я н. Золотая рыбка, Вольный перевод (на арм. яз.), Тифлис, 1884, 18 стр.

² В том же году в Тифлисе был издан четвертый перевод «Сказки о рыбаке и рыбке», принадлежащий известному армянскому поэту Рафаэлу Патканяну, но во многом уступающий переводу Агаяна. К числу удачных относятся переводы Атабека Хнкояна «Сказки о попе и о работнике его Балде» (1908) и «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» (1911).

где, наряду с сохранением отдельных строк оригинала, как например

Наша избушка, увы, ветха и темна
грузинский поэт вносит новые мотивы, придавая стихотворению местный колорит:

Давай, разведем огонь в камине,
Изжарим шашлык на вертеле...

Послушай меня, опрокинем кулу,
Исчезнут разом тогда заботы и тоска,
Пусть там завывает буря себе,
Мы весело проведем время у огня.

У Орбелиани вместо песни о синице и девице появляется национально-патриотическая тема о «славных временах грузинских мечей».¹

И в первом, и во втором случае имеет место стремление пушкинским стихам придать национальное звучание, приспособить к местным условиям. В «Поэте» Шах-Азиза, наряду с прямым заимствованием из пушкинского оригинала, вносится много из своих собственных дум и размышлений. Начало стихотворения напоминает первые строки пушкинского «Поэта».

Поэт, оставайся вдали от рукоплесканий толпы,
Когда горишь огнем вдохновенья
(Когда ты охвачен вдохновеньем).

Ты служитель высшей святости и т. д.

Затем уже следуют собственные мысли о гражданском долге поэта, о том, что он должен любить свой народ, должен бескорыстно и смело служить правде, он должен разрушить «святыню» богачей и покарать зло и т. д. «Поэт» не является исключением. Другое стихотворение Шах-Азиза «Памяти Степаноса Назарянца» начинается незначительной перефразировкой первой строки пушкинского «Памятника»:

Ты памятник воздвиг себе нерукотворный...

Влияние Пушкина (в частности «Евгения Онегина» и «Графа Нулина») сказалось и на известной поэме Шах-Азиза «Скорбь Леона».

В 1872 г. на страницах журнала «Айкакан Ашхар» было напечатано без подписи стихотворение «Памятник. Подражание Пушкину». Автор «подражания», по всей вероятности, редактор-издатель журнала архимандрит Хорен Степане, сохранив целиком отдельные фразы оригинала, приспособил пушкинский текст своему замыслу. Вторая строфа армянского текста «Памятника» звучит так:

Услышит о моей славе мать моя, святая Армения,
И назовет меня всяк сущий в ней язык.
Долго не перестанет любить меня нация армянская
За то, что я умел пробуждать добрые чувства,
Что мыслями благородными я принес пользу
И взывал всегда к спасению падших...²

Трудно назвать стихотворение Степане «подражанием Пушкину»; оно является примером грубого и примитивного использования текста пушкинского образца.

Еще с 30-х годов в Лазаревском институте, благодаря, главным образом, широкой пропаганде Н. О. Эмина, была создана известная

¹ См. подробно: К. Дондуа, Пушкин в грузинской литературе, Сб. «Пушкин в мировой литературе», ГИЗ, Л., 1926, стр. 206—207, 211—212.

² Айкакан Ашхар, «Армянский Мир». Журнал педагогический и религиозный. Шуша—Елзаветполь, 1872, № 1—2, стр. 25—26.

традиция в отношении русской поэзии и, в частности, — Пушкина и Лермонтова. Эта традиция давала себя чувствовать и в 80-е годы. После Патканяна и Шах-Азиза в стенах этого учебного заведения в начале 80-х годов оказался Ованес Ованисян, впоследствии выдающийся поэт, которому армянская поэзия обязана новым расцветом лирики.

Ованисян, по собственному признанию, «очень полюбил Пушкина и Лермонтова». Еще в ученические годы в подражание «Евгению Онегину» он написал целую поэму.¹ Ему принадлежат и несколько переводов из лирики Пушкина, большая часть которых относится к началу 80-х годов, но были напечатаны в 1899 г. к столетию со дня рождения русского поэта.

Заслуга Ованисяна заключается в том, что в сущности он первый после Амазаспяна подошел к задаче перевода образцов пушкинской лирики с должным чувством ответственности, но, к сожалению, не преодолел неизбежных трудностей. Средствами армянской поэтической речи он стремился по возможности точно воспроизводить русские оригиналы, но язык его переводов неровный, часто страдает прозаизмами. Переводы другого выдающегося поэта конца XIX начала XX века — Александра Цатуряна составили новый этап в пропаганде пушкинской поэзии в Армении. Он больше, чем кто-либо из армянских поэтов прошлого, уделил внимание русской поэзии. В 1905 г. Цатурян предпринял издание антологии переводов из русской поэзии в двух выпусках, первый из которых целиком был посвящен Пушкину и Лермонтову. В предисловии к первому выпуску «Русских поэтов» Цатурян справедливо отмечал, что армянский читатель с русской поэзией «знаком по единичным, случайным переводам» и что он поставил перед собою задачу по мере сил своими переводами дать возможность составить более или менее правильное и цельное представление о русской поэзии, в частности о лирике.

Пушкин представлен в сборнике Цатуряна следующими стихотворениями: «Ангел», «Я думал, сердце позабыло...», «Осеннее утро», «Анчар», «О дева-роза, я в оковах...», «Желание», «Кавказ», «Буря», «Возрождение», «Птичка», «Узник», «Цветок», «Пророк», «Соловей», «Желание славы», «Если жизнь тебя обманет...», «Романс», «Цветы последние милей...», «Талисман», «Телега жизни», «Русалка», «Пред испанкой благородной...», «Для берегов отчизны дальней», «Поэт», «Сапожник», «Туча», «Деревня», «К Чаадаеву» (Любви, надежды, тихой славы...), отрывок из «Бахчисарайского фонтана».² В этом перечислении нетрудно видеть стремление Цатуряна дать как можно более широкое представление о пушкинской лирике. В этом роде это была первая попытка, и армянский поэт во многом достиг своей цели. Здесь впервые были даны образцы гражданской лирики, и благодаря Цатуряну впервые на армянском языке прозвучали такие стихотворения, как «Деревня» и «К Чаадаеву». В сборнике Цатуряна не все переводы равноценны, но наиболее удавшимися следует считать: «Я думал, сердце позабыло...», «Желание», «Кавказ», «Талисман».

Некоторые стихотворения не нашли места в антологии Цатуряна, очевидно, не потому, что он их считал менее характерными для лирики

¹ Поэма относится к ранним незрелым произведениям. Она не была напечатана Ованисяном. Отрывок из поэмы опубликован сравнительно недавно по автографу, обнаруженному в бумагах поэта. А. С. Пушкину (на арм. яз.) к столетию его трагической гибели. От Института истории и литературы Арм. ССР (сборник статей и материалов), Ереван, 1937, стр. 277—291.

² Александр Цатурян. Русские поэты (на арм. яз.) Пушкин и Лермонтов, вып. первый, Москва, 1905, стр. 9—66.

Пушкина, а лишь потому, что они представляли для перевода исключительно трудность. К ним относятся прежде всего такие стихотворения, как: «Погасло дневное светило...», «Ночной зефир», «Зимний вечер», «Я помню чудное мгновенье», «Зимняя дорога», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил...», «Бесы», «Пора, мой друг, пора...». Как бы то ни было, Цатуряном была выполнена задача огромной трудности, и он сделал очень много для популяризации в Армении лучших образцов русской поэзии. Цатурян, в творчестве которого с новой силой прозвучали гражданские мотивы, в значительной степени был воспитан русской литературой. «Что же касается влияния русской литературы, — и особенно русской поэзии на меня, — писал Цатурян в 1902 г., — то оно огромное. Цатурян преклонялся перед поэтическим гением Пушкина, но больше он любил Лермонтова, который казался ему более близким и по кругу тем и по настроениям. «Из русских поэтов, — писал он, — особенно горячо полюбил я Лермонтова... Моя скромная лира всегда с благоговением и священным трепетом смотрела на этот величественно-грустный поэтический облик. Этот беспокойный, вечно томящийся дух, этот «одинокий парус» на море житейском, вечно ищущий бури, «как будто в бурях есть покой», меня очаровывал, меня приводил в глубокое волнение...».

Если проследить историю переводов Пушкина на армянский язык, начиная с первых попыток до Цатуряна, то нужно прежде всего отметить, как возрастало чувство ответственности и как выработывалось более строгое отношение к точному воспроизведению русских образцов. В этом отношении некоторое исключение составляет сборник Амазаспяна. Что же касается остальных армянских переводчиков до Ованисяна и Цатуряна, то в большинстве случаев, как правило, переводчики довольно свободно обращались с пушкинским текстом, в желании придать переводу национальный колорит они не стеснялись изменять, дополнять оригинал. Иначе относились к своей задаче Ованисян и Цатурян. Строго придерживаясь оригинала, они стремились сохранить в переводах не только особенности формы, но и добивались максимально точной передачи содержания. Задача эта нелегкая и с большей эффективностью, со значительно более лучшими результатами она была разрешена Ованесом Туманяном

Немногочисленные переводы Ованеса Туманяна составили новый этап в популяризации имени Пушкина в Армении.

Свое отношение к проблеме поэтического перевода Туманян выразил в следующих строках: «Перевод подобен розе под стеклом: почти невозможно, чтобы переводчик дал благоухание, непосредственное обаяние подлинника. Однако всегда требуется, чтобы он оставался верен мысли подлинника и был понятен читателю. Это требование особенно увеличивается, когда переводится такое произведение, каждое слово и предложение которого имеет свое твердое место и значение».¹

Сознавая всю сложность самой творческой задачи, Туманян в своих переводах придерживался этих принципов. Он стремился, в возможных пределах, не изменяя мысли подлинника, воссоздать его на армянском языке, добиваясь такого совершенства, при котором перевод обладал благозвучием армянского стиха. В этом отношении немногочисленные переводы Туманяна из русской поэзии по своему общему характеру напоминают стихотворения Лермонтова: «Горные вершины

¹ Туманян-критик (на арм. яз.). ГИЗ Арм. ССР. Ереван, 1939, стр. 81.

спят во тьме ночной...» (из Гёте), или «На севере диком растет одинокое...» (из Гейне). В подобных случаях мы имеем дело не с обычными опытами поэтического перевода. Автор выбирает произведение, выражающее близкое, родственное настроение, и воссоздает это произведение на родном языке, пытаясь проникнуться духом подлинника и верно передать его. С этой точки зрения, армянское звучание «Зимнего вечера» Пушкина у Туманяна является шедевром поэтического перевода.

Туманяну удивительным образом удалось найти в богатствах родной поэтической речи такие слова, которые не только верно передают образную систему подлинника, но и легкость, изящество, мудрую простоту и музыкальность русского образца.

Многие стихотворения и поэмы Пушкина и Лермонтова еще в годы юности Туманяна стали его любимыми произведениями. Школьником он уже знал поэмы Пушкина: «Полтава», «Цыганы», стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Утопленник», «Зимний вечер»; «Песню про купца Калашникова...» Лермонтова, его стихотворения: «Ангел», «Ветка Палестины», «Спор», «Пророк», «Тучки небесные...», «Выхожу один я на дорогу...», «И скучно, и грустно...». Таким образом, еще в ранние годы творческой деятельности Туманяна Пушкин и Лермонтов заняли прочное место в его сознании и оказали несомненно благотворное влияние на развитие поэтического чувства. Однако было бы излишним и бесполезным искать у армянского писателя отрывки, отдельные образы, напоминающие творения русских поэтов, как факты, свидетельствующие о заимствовании или подражании. Туманян, как бы имея в виду будущих исследователей, писал одному из русских литераторов: «До получения вашего письма я не задумывался над вопросом о том, в какой степени я находился под влиянием русской словесности, получив его, я серьезно подумал об этом, стал искать у себя следов русского влияния, но не в внешней форме моих стихотворений, так как я никогда сознательно не следовал и не подражал никакому поэту, — а в моем духовном мире, литературных вкусах и взглядах».¹

Туманян не раз возвращался к чтению и изучению Пушкина и Лермонтова. Есть все основания предполагать, что в глубоком осмыслении наследия величайших русских поэтов ему помогали статьи В. Г. Белинского, несомненно оказавшего влияние на формирование литературных взглядов армянского поэта.

Теперь трудно установить, когда впервые Туманян ознакомился со статьями Белинского, видимо, не позднее конца 90-х годов. В 1898 г. вся Россия отмечала пятидесятилетнюю годовщину со дня смерти критика. Армянская передовая печать также откликнулась на эту дату. Она отмечала благотворное влияние идей Белинского на развитие армянской литературы. Весьма знаменательно, что статья в газете «Мшак» — «Труженик» имела эпиграфом строки из Некрасова:

Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени...

Статья оканчивалась словами Некрасова, которые могли повторить и многие армянские писатели и общественные деятели:

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,

¹ О в. Туманяна. Полн. собр. соч. (на арм. яз.), т. V, Письма, Ереван, 1946, стр. 232—237.

Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

Летом 1904 г. Туманян взялся за изучение Белинского. В письме к Ф. Вартазаряну он с восторгом отзывался о статьях русского критика и удивлялся, как много общего в жизни различных народов.¹ Ему же армянский поэт писал о задачах критики: «Критик — переводчик писателя, он должен «переводить» поэта, но переводить не слова его, а образы. Он должен проникнуть в душу поэта, добраться до самых корней и истоков его творчества, быть глубоко проницательным, судить справедливо. Тогда рассеются неясности, станут понятными и естественными многие противоречия, из хаоса родится гармония — конечно, в том случае, если она есть. Прежде всего нужно, чтобы поэт был поэтом истинным. Понять поэта не так легко, он и сам себя часто не понимает. . .»

Есть все основания утверждать, что эти мысли Туманяна о назначении критики возникли под непосредственным чтением Белинского, в частности его статей о Пушкине и Лермонтове.

Образ справедливого и проницательного критика, способного понять художника, прямо указывает на Белинского, как на источника размышлений Туманяна. В истории развития мировой эстетики в лице Белинского можно видеть столь редкое сочетание глубокого и передового мыслителя своего времени с тонкой впечатлительностью натуры истинного художника и поэта. В этом, прежде всего, особенность личности гениального русского критика, в этом источник силы его статей.

В 1904 году армянский литератор и публицист Ф. Вартазарян работал над статьей о творчестве Туманяна. Предварительно, в письмах к поэту он делился своими мыслями и просил высказать ему свое мнение по целому ряду вопросов. В этой связи, отвечая критику, Туманян писал: «Вообще ты своего поэта определил и понял совершенно правильно: он певец горя своего народа, поэт скорби и печали. В этой скорби и печали различные источники, но все они проистекают из одного и возвращаются к одному, — это наша армянская жизнь, армянская страна. Может быть, в этом и главное мое достоинство».

Если это так, это действительно великое дело. Белинский говорит: «величие поэта — в его народности. Поэт, прежде всего, должен быть сердцем своего народа. . .»²

Отношение Туманяна к Пушкину было весьма своеобразно. По собственному признанию, «Евгений Онегин» не произвел на него сильного впечатления, но он не мог говорить без волнения о «Полтаве», «Кавказском пленнике», «Цыганах» и особенно о лирике Пушкина. Больше всего любил он «Зимний вечер». «Люблю эту вещь, потому что она подлинно русская», — говорил он.

В 1912 г. в Петербурге группа русских литераторов пригласила Туманяна на ужин, где он познакомился с В. Г. Корленко. «Хороший человек был, настоящий русский человек», — рассказывал о нем Туманян впоследствии своим друзьям. После ужина направились вместе домой. По дороге разговор зашел о Пушкине. Корленко спросил Туманяна о том, какое из произведений Пушкина произвело на него сильное впечатление и какое из них более всего он любит. «Он думал, — рассказывает Туманян, — что я назову одну из крупных вещей Пушкина, и когда я сказал «Зимний вечер» он очень удивился». Туманян считал «Зимний вечер» жемчужиной русской поэзии.

¹ О в. Туманян. Письма, стр. 282.

² О в. Туманян. Избр. произв., Гослитиздат, М., 1946, стр. 361—362.

Если бы Короленко хорошо знал Туманяна, этого волшебного певца природы и народной жизни, для которого простота и ясность были основными законами искусства, то для него было бы понятно, почему из богатого и разнообразного наследия Пушкина армянскому поэту особенно по сердцу пришлось это небольшое лирическое стихотворение. Туманян любил Пушкина, как одного из величайших художников слова. По музыкальности стиха, по простоте и ясности языка, по силе и верности выражения сложного и богатейшего мира чувств и мыслей Пушкин — явление исключительное. Ясность и точность в выражениях, стройность и гармоничная цельность — отличительные черты его поэзии, где все просто и естественно, где все в меру и на месте. «Каждое слово в поэтическом произведении, — говорил Белинский, — должно до того исчерпывать все значение требуемого мыслию целого произведения, чтоб видно было, что нет в языке другого слова, которое тут могло бы заменить его. Пушкин, в этом отношении, величайший образец». Туманян и в этом был солидарен с Белинским. Говоря о достоинствах «Зимнего вечера», Туманян восхищался гармонической цельностью, простотой и ясностью пушкинского стихотворения. „В этом произведении, — писал Туманян, — нет ни одного лишнего слова, а для поэта каждое слово — целый мир и слову поэт должен придавать большое значение».¹

Туманян любил и гражданскую лирику Пушкина. В 1903 г. перед первомайской демонстрацией для революционной листовки, которую готовила местная партийная организация, необходимо было перевести знаменитые строки из оды «Вольность»:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу...

Трудно было с переводом. Дело не клеилось. Тогда решили, по предложению Степана Шаумяна, обратиться к Туманяну. Армянский поэт сразу же, экспромтом, перевел пушкинские строки. Листовка была распространена в день демонстрации в тысячах экземпляров.

«Скажу больше, — писал Туманян, — я нашел, что русские поэты, главным образом Пушкин и Лермонтов, всегда казались мне более родными и близкими, чем наши армянские поэты (речь идет о поэтах предыдущего поколения). Причиной этого было не только превосходство их талантов, но и следующий, весьма существенный факт: в силу каприза судьбы или стечения обстоятельств, наши армянские поэты жили и творили вдали от нашей родины, и в их песнях не отразились ни наша природа, ни народная жизнь». Иллюстрируя свою мысль, Туманян привел отрывки из произведений Шах-Азиза и Патканяна, в которых авторы воспевали чужие края. Вслед за тем, он цитировал известные строки Лермонтова из «Измаил-Бея»: «Как я любил, Кавказ мой величавый» и из посвящения к поэме «Демон»: «Тебе, Кавказ — суровый царь земли...»²

Правдивое изображение народной жизни и поэтическое воспевание родной природы для Туманяна явились теми основными критериями, которыми определялось его отношение к творчеству своих предшественников в армянской поэзии. По его словам, в песнях Рафаэла Патканяна и Смбата Шах-Азиза он не чувствовал ни «благоухания родных полей», ни биения пульса народной жизни. Он откровенно писал Шах-Азизу:

¹ О в. Туманян. Избр. произв., стр. 403.

² О в. Туманян. Письма, стр. 232—237.

«Действительно, какая странная игра судьбы: армянские поэты попадают на Север и воспевают незнакомую деву и чужие края, а русских поэтов судьба гонит на Кавказ, и эти изгнанники воспевают горы и жизнь народов Кавказа».¹

Кавказу многим обязана русская поэзия. «С легкой руки Пушкина, — писал Белинский, — Кавказ сделался для русских заветною странюю не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, странюю кипучей жизни и смелых мечтаний».² Кавказские поэмы Пушкина очаровали еще юного Туманяна. Русский поэт воспел в них природу горного края, свободу и любовь кавказских народов к вольной жизни. Туманяну, певцу гор, не могли не нравиться неповторимые пейзажи, написанные гениальной кистью Пушкина.

Вслед за Пушкиным воспел Кавказ Лермонтов. Страна гор очаровала его, и она стала для него волшебным краем простора и вольности. И Кавказ стал, — как говорил Белинский, — «колыбелью его поэзии так же, как он был колыбелью поэзии Пушкина, и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно-величавой природы, как Лермонтов».³

И в последние годы своей жизни Туманян снова вспомнил любимого поэта. В 1917 г. он посетил лермонтовские места на Северном Кавказе. «Побывал в домике Лермонтова, на месте дуэли, там, где он любил гулять, — писал армянский поэт из Пятигорска одному из своих друзей, — многое в его произведениях только здесь можно понять». Туманян рассказывает в письмах, как однажды, возвращаясь с вечерней прогулки, он, проходя по аллее, обратил внимание на множество мелких белых камешков, которые блестели в темноте. При этом армянский поэт вспомнил стихотворение Лермонтова:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

«Я только теперь понял, — писал Туманян, — почему Лермонтов говорит. «Сквозь туман кремнистый путь блестит...»⁴ Сообщая об этом, Туманян делился мыслями о том, какая тесная связь существует между песнями поэта и природой, окружающим его миром.

Туманян любил Лермонтова даже больше, чем Пушкина. Творчество Лермонтова в большей степени оказалось связанным с далекой горной страной, и после Пушкина кавказские мотивы еще с большей силой прозвучали в его поэзии. Может быть, в значительной степени этим объясняется особая любовь кавказских поэтов к лермонтовской музе. Небезинтересно, что в 1888 г., когда Туманяну было 19 лет, его библиотека состояла из трех любимых книг: Илиады и Одиссеи Гомера, сочинений Лермонтова и романа Абовьяна «Раны Армении».

В 1914 г. в условиях войны Туманян решил отметить в армянской печати 100-летие со дня рождения Лермонтова. 2 октября он написал статью под заглавием «Великий приемный сын Кавказа», в которой с горечью отмечал: «Война помешала отпраздновать светлое событие, которое должно было вызвать ликование, волнение в миллионах сердец всех народов и племен России».⁵ В этой же небольшой статье была дана общая характеристика творчества русского поэта, из которой легко пред-

¹ О в. Туманян. Письма, стр. 256.

² В. Г. Белинский. Избр. соч., Гослитиздат, М., 1941, т. III, стр. 298.

³ В. Г. Белинский. М. Ю. Лермонтов, Гослитиздат, Л., 1940, стр. 26.

⁴ Туманян-критик (на арм. яз.), Ереван, 1939, стр. 4.

⁵ О в. Туманян. Избр. прозв., стр. 401.

ставить, что же было особенно близко и дорого Туманяну в поэзии Пушкина и Лермонтова. Его прежде всего привлекала гордая, свободолюбивая натура русского поэта: «Он родился с пламенной, возвышенной душой, которая еще с детства искала новых путей в окружающем его сумраке России прошлого столетия, — с душой, отвергавшей жизнь, закованную в чиновничий мундир.

И свершилась великая драма.

Да самая ужасная из драм, драма великих душ. Лермонтов разделил судьбу своего великого предшественника Пушкина.

И оба они на беспредельных равнинах России остались одинокими душами, непонятыми и преследуемыми.

Почему же их преследовали в родной стране? Разве они не любили Россию?».

Далее Туманян говорит о той «странной любви», которой любил Лермонтов отчизну, любви, которая «щедро звучала в его творениях», но которая тогда не могла быть понята и оценена, потому что «жизненную арену занимали или ничтожества, или те, о которых он говорил, что их подлые сердца облачены в мундир». «Тогдашнее общество не понимало его и не ценило и изгнало из своей среды. Его преследовали тысячи глаз и рук.

От этого общества готов был бежать Пушкин.

От этого общества бежал в Персию Грибоедов.

Ко всему этому прибавилось огромное горе. Лермонтов боготворил Пушкина и увидел его оклеветанным и сраженным пулей.

И тогда родилось и загремело по России полное огня и ненависти стихотворение «На смерть поэта». Поэт кинул в лицо царской России такие слова обличения и гнева, каких еще она не слышала. И это решило все.

Он должен был удалиться.

И он удалился, протрившись с Россией хозяев и рабов с ее голубыми мундирами.

Может быть, он думал там, за горами Кавказа, укрыться от всевидящего ока и от всеслышащих ушей правителей!

Он искал пристанища для своей души и любви. Кавказ стал таким пристанищем для Пушкина и Лермонтова.

Разочарованные жизнью России того времени, изгнанные и преследуемые, они устремились к югу, и их израненным и оскорбленным сердцам бодро и ясно улыбнулись из-за облаков снежные вершины Кавказа. И они со всем пылом своих чувств прильнули к груди Кавказа, были усыновлены им и побратались с нами, кавказцами».¹

Много искреннего сочувствия в этих строках к печальной судьбе Пушкина, Лермонтова и всех тех благородных деятелей русской литературы, которые выступили смело против самодержавия, тирании, воспели свободу и пали в этой неравной борьбе.

«Великий приемный сын Кавказа» — в устах Туманяна эти слова звучали как самое высокое, почетное звание, которым окрестил он Пушкина и Лермонтова, в знак своей вечной благодарности и глубокой любви к величайшим поэтам русской земли.

Черты, характеризующие Туманяна как большого поэта, выразителя народных идеалов, во многом сближали его с передовой русской литературой, идейную связь с которой он всегда ощущал. В 1916 г., в приветственной речи в честь В. Я. Брюсова, Туманян говорил: «С лю-

¹ «Дружба народов», Альманах, кн. 3, М., 1939, стр. 307—309.

бовью и уважением я преклоняюсь перед великолепной литературой великого русского народа... на которой воспитались многие и многие из наших писателей и мыслителей».¹ Он высоко ценил творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова и Горького. Многие произведения передовой русской литературы по своей правдивости, идейной насыщенности и гуманизму были особенно близки и дороги Туманяну.

Все большее и большее расширение круга переводов из Пушкина — знаменательное явление, показывающее процесс активного освоения величайших достижений русской поэзии в Армении. Оно свидетельствует об укреплении идейной связи армянской поэзии с передовой литературой России. Однако не следует думать, что знакомство армянских поэтов с Пушкиными ограничивается только переводами его произведений. Если у некоторых виднейших представителей новой армянской поэзии нет переводов, это вовсе не означает, что они не вдохновлялись Пушкиным. Яркими примерами внутреннего обогащения достижениями русской поэзии, в частности творчеством Пушкина и Лермонтова, могут служить и Ованисян, и Туманян, и Исаакян, и Терьян. В песнях Терьяна много общего со светлой поэзией Пушкина и Лермонтова. Терьяна всегда привлекала русская поэзия. Русские сказки и былины Пушкина и Лермонтова он называет наиболее характерными и наиболее яркими выражениями «великого русского духа». Для Терьяна Пушкин — «национальный гений, имя которого сверкает на вершинах русской поэзии».

Пушкин и Лермонтов явились для поэтов Армении богатейшим источником вдохновения. В своем же творчестве они оставались оригинальными, самобытными художниками, выразившими вековые думы и чаяния армянского народа.

Дореволюционная Армения мало знала Пушкина. Лишь в наши дни произведения его стали достоянием широких читательских масс и осуществилась мечта поэта:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык...

Писатели Советской Армении в один голос говорят о том, как близок и дорог им Пушкин, который во имя победы справедливости и правды на земле, во имя счастья народа в свой жестокий век «восславил свободу»; они говорят о том, как поэзия Пушкина вдохновляет их, толкает на новые творческие победы, наполняет душу оптимизмом и жизнерадостностью, «возносит к высотам подлинного гуманизма». Народный поэт Армении, лауреат сталинской премии, Аветик Исаакян говорит: «Мы все, с детства до последних дней нашей жизни, остаемся зачарованными этим великим гением. Он всегда с нами, всегда в нашей душе. Когда мы были детьми, его золотые сказки уносили нас в счастливые миры воображения. Будучи юношами, мы всем сердцем увлекались его прелестной любовной лирикой. Мы сливали свою любовь и печаль с его любовью и печалью и бродили вместе с ним по обширным степям великой русской родины, по берегам ее могучих рек, по лесам, в золотую пору осеннего листопада. В молодые годы нас окрылял его свободолобивый дух. Его дерзкие, бурные песни направляли, толкали нас на борьбу, на самопожертвование. В старости мы глубоко задумываемся над его великой мудростью, над его глубокими мыслями, над его исключительно полным пониманием действительности».²

¹ Туманян-критик... стр. 337.

² Газ. «Коммунист», Ереван, 1937, 6 февраля, № 30 (774).

Другой из старейших писателей Армении — Дереник Демирчян пишет о том редком наслаждении, которое он получает при чтении Пушкина. «Каждая его строка, — пишет он, — дышит жизнью, грустит, улыбается, размышляет, негодует... Пушкин всегда посещал меня в минуты творческих мук. Я всегда вспоминал его основные принципы: естественность, искренность, величие, ясность». Согомон Таронци говорит, что многие его баллады написаны под непосредственным благотворным влиянием Пушкина. «У Пушкина я учился народности, — говорит поэт Сармен, — у него я учился слиться всей душой со своим веком». Пушкин для писателей Советской Армении — великий учитель, который постоянно зовет к мастерству, к светлым вершинам поэтического слова.

Один из крупнейших поэтов Советской Армении Наири Зарьян в стихотворении, посвященном Пушкину, писал:

Узнал ты скованный народ,
Чей дух приветлив и могуч,
И снова шел вперед, вперед, —
В суровый край армянских круч.
Ты пал в неравном том бою...
Но песня будет жить века,
Будить умы, будить сердца.
Она ушла в народный гул,
В преданье, в музыку, в зарю...
О, еслиб миг такой настал
(Мечта безумная, мелькни!..)
И ты негаданно восстал,
Вошел бы в сталинские дни,
Как славословя, как любя,
Объятья бурные раскрыв,
Страна встречала бы тебя...¹

В этих строках поэт выразил чувства и мысли армянского народа с величайшем поэте русской земли. Пушкин стал живым участником строительства новой культуры многонациональной, единой семьи народов Советского Союза.

¹ Антология армянской поэзии. Гослитиздат, М., 1940, стр. 585—586.

Асп. З. А. Ахметов

ПУШКИН И АБАЙ

Творческое наследие великого гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина стало подлинным достоянием широких масс казахского народа только после Великой Октябрьской социалистической революции.

В дореволюционном Казахстане переводы произведений Пушкина, сделанные казахскими акынами, распространялись главным образом только изустно и в рукописях. Печатных изданий произведений Пушкина было лишь несколько. Так, в 1903 г. была издана М. Н. Бекимовым в Казани «Капитанская дочка», им же переведенная на казахский язык. В 1909 г. в Петербурге впервые были напечатаны переводы Абая из Пушкина.

Только после революции произведения Пушкина печатаются на казахском языке массовыми изданиями. В середине 30-х годов были изданы в переводе на казахский язык «Дубровский», «Метель», «Скупой рыцарь», «Каменный гость» и др. В 1936—1937 гг. вышел трехтомник избранных произведений А. С. Пушкина тиражом в 10 тыс. экземпляров, куда вошли «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Станционный смотритель», драмы и многие стихотворные произведения. Всего за советские годы до юбилейного 1949 года издано на казахском языке около трех десятков крупных произведений и много стихотворений Пушкина, общим тиражом в 250 тыс. экземпляров.

К юбилейным дням вышел на казахском языке новый однотомник избранных произведений Пушкина. В однотомник вошли свыше сорока лирических произведений, все поэмы и многие драматические произведения Пушкина. Широко представлена в этом издании и пушкинская проза. «Евгений Онегин» и многие другие произведения поэта даны в однотомнике в новых переводах лучших поэтов Советского Казахстана.

Замечательные творения пушкинского гения в наше время, наряду с произведениями лучших представителей русской литературы, стали действенным фактором в развитии казахской советской литературы.

И в наши дни, когда творчество А. С. Пушкина становится достоянием все более и более широких масс Советского Казахстана, когда творения Пушкина активно вошли в жизнь казахского народа и помогают его культурному строительству сегодня, мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем имя того, кто впервые своими превосходными переводами донес до казахского народа бессмертные идеи Пушкина, сделал его любимым акыном казахских степей еще во второй половине прошлого века. Непревзойденные переводы Абая из «Евгения Онегина» — замечательное явление в истории казахской литературы. Они навсегда

останутся ярким свидетельством горячей любви казахского народа к творениям пушкинского гения, свидетельством горячей любви его к русской литературе и культуре.

Казахская литература обращалась к русской литературе еще в лице своего выдающегося представителя Ибрая Алтынсарина. Алтынсарин оставил прекрасные переводы басен Крылова. Во второй половине XIX в. к русской литературе обратился Абай, все творчество которого неразрывно связано с именем Пушкина, Лермонтова, Крылова, Некрасова, Л. Толстого, Салтыкова-Щедрина, Белинского, Чернышевского, Добролюбова и др. Великий поэт и просветитель казахского народа глубоко изучал наследия классиков русской литературы и революционно-демократической общественной мысли.¹ Создатель новой казахской литературы, Абай опирался в своем творчестве на лучшие достижения передовой русской литературы, на ее идейные и эстетические основы.

Более 50 переводов из русских классиков, в том числе и поэмы, дошедшие до нас только в отрывках — вот дань глубокого уважения Абая к русской литературе, дань преклонения перед ее величием и мощью.

Еще будучи учеником мусульманского медресе, наперекор всем правилам духовной школы, Абай учился русскому языку. Учился для того, чтобы в подлиннике читать произведения русских писателей, поэтов и ученых. Абаю тогда было всего лишь 14 лет. Познакомившись с сочинениями Пушкина в эти годы, когда читать удавалось ему с еще большим трудом, Абай всю жизнь не расставался с произведениями Пушкина.

Поэзия А. С. Пушкина освещала путь творчеству самого Абая, служила опорой в его идейно-художественных исканиях. Тщательное изучение творческого опыта Пушкина способствует формированию реализма творчества Абая, помогает создать новую поэтику, ввести новые размеры.

Замечательные стихи Абая о роли поэта и о значении поэзии, о четырех временах года и др. созданы на основе серьезного творческого изучения наследия Пушкина и Лермонтова.

Изучению и освоению творчества Пушкина способствовали и переводы из «Евгения Онегина». Мастерски передавая на казахский язык пушкинские поэтические образы и средства их языкового выражения, Абай обогащает казахскую литературу идейно и расширяет возможности ее художественной формы, вносит в казахскую литературу новые элементы реализма.

В изучении Абаем русской литературы и истории русской общественной мысли, большую роль сыграло его многолетнее общение с русскими политическими ссыльными, жившими в Семипалатинске.

Одним из самых близких друзей Абая был Евгений Петрович Михаэлис. Это был типичный «шестидесятник». П. Д. Боборыкин высказывал даже мнение, что при создании образа Базарова в «Отцах и детях» Тургенев пользовался чертами Михаэлиса.

Ученик Н. Г. Чернышевского, воспитанник Петербургского Университета Е. П. Михаэлис за революционную деятельность был сослан в Тобольскую губернию. Позже, в 1868 г. с особого разрешения Министерства внутренних дел он переехал в г. Семипалатинск.

В Семипалатинске Михаэлис развернул всестороннюю научную деятельность, много сил он уделял просветительной работе в крае. Михаэлис был членом Областного статистического комитета, позже и чле-

¹ Жирентин А. М. О связи Абая с русскими революционерами-демократами. Вестник АН Каз. ССР, 1948, № 1, стр. 49—54.

² «Минувшие годы», 1908, № 5—6, стр. 54.

ном Семипалатинского подотдела Зап.-Сибирского отдела Русского географического общества. При активном участии Михаэлиса были организованы политическими ссыльными музей и публичная библиотека, в которой были собраны почти все русские журналы и газеты. Книжный фонд библиотеки превышал 1000 томов. Наряду с произведениями русских классиков, здесь были сочинения Дарвина, Спенсера, Тэна и др.

В этой библиотеке, постоянным посетителем которой был и Абай, в 80-х годах прошлого века произошло знакомство Михаэлиса с Абаем.

Абай просил последний номер «Русского Вестника», где печаталась «Анна Каренина» Льва Толстого. Журнал оказался в руках Михаэлиса. Михаэлис уступил его Абаю. Завязался разговор. По совету Михаэлиса Абай взял также и том стихотворений Пушкина. Так, при первой встрече Михаэлис рекомендовал Абаю часто читать Пушкина, великого поэта земли русской.

С этих пор Абай стал частым гостем в доме Михаэлиса. Михаэлис, будучи естественником по специальности, горячо любил литературу и искусство. Дочь его — Л. Е. Хотимская (урожденная Михаэлис) пишет в своих воспоминаниях, что Е. П. Михаэлис с друзьями «обсуждали не только общественно-политические, научно-исследовательские вопросы, но и новинки литературы, науки, техники и искусства».¹

«Отец зачитывался художественной литературой», — свидетельствует она. Евгений Петрович Михаэлис был страстным поклонником Льва Толстого. «Любимыми поэтами отца, — пишет его дочь, — были А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. Стихотворение Лермонтова «На смерть поэта» он цитировал мне очень часто с увлечением».²

Другой выдающейся личностью среди ссыльных друзей Абая был кандидат медицинских наук Нифонт Иванович Долгополов. Сосланный в конце 80-х годов в Западную Сибирь (город Курган), Долгополов и там не прекращал революционной деятельности. «Нифонт Долгополов встал во главе политических ссыльных, небезвредно влияя на население Кургана. Самовольно отлучается из города и отказался принять присягу на верность подданства государю-императору» (т. е. Александру III.— З. А.) — так писал о нем генерал-губернатор Тобольска.³

На «крайнюю политическую неблагонадежность» Долгополова часто жаловался и генерал-губернатор Зап. Сибири; он наконец добился разрешения Министерства внутренних дел отправить Долгополова в г. Семипалатинск.

Н. И. Долгополов был хорошо знаком с Абаем еще до приезда в Семипалатинск через Михаэлиса и Леонтьева. Теперь Долгополов, как и Михаэлис, стал частым гостем в ауле Абая.

В Семипалатинском областном архиве сохранилось прошение Долгополова, поданное им на имя Семипалатинского военного губернатора, где он, жалуясь на расстройство здоровья, просит разрешить ему поездку в аул Абая на два с половиной месяца. Генерал-губернатор направил полицмейстеру распоряжение выдать Долгополову проходное свидетельство, где он писал «об учреждении за ним (т. е. Долгополовым. — З. А.) полицейского надзора вместе с сим предложено г-ну и. д. Семипалатинского уездного начальника».⁴

В тесном общении с Абаем находился также Сев. Северинович

¹ «Прииртышская правда», 1945, № 152.

² Там же.

³ А. Степанов. Друзья поэта, «Казахстанская правда», 1940, № 239.

⁴ Ритман-Фетисов. Документы к биографии Абая, «Прииртышская правда», 1945, № 152.

Гросс, сосланный за революционную деятельность в Виленской подпольной организации, и многие другие.

Однако дружба Абая с политическими ссыльными сильно беспокоила местную администрацию. Уже давно был установлен негласный надзор над Абаем и его аулом. Политические ссыльные преследовались за революционную пропаганду среди местного населения. Семипалатинский воен. губернатор запретил Михаэлису и другим политическим ссыльным встречаться с Абаем, «опасным и вредным для царизма человеком, над которым уже установлен полицейский надзор» («Воспоминания дочери Михаэлиса»). Наконец, в ауле Абая был произведен обыск и ссыльные друзья Абая были высланы из Семипалатинска.

Общение и дружба Абая с русскими революционерами, политическими ссыльными на протяжении многих лет — это не только факт биографии поэта, это фактор огромного значения, сыгравший исключительную роль в развитии творчества Абая, в его понимании русской культуры и литературы. «По указанию Евг. Петров[ича] (Михаэлиса — З. А.) Абай перечитал русских классиков — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Достоевского и др.; познакомился с сочинениями Спенсера, Льюиса, Дрепера. Абай прекрасно потом понял, чем он был обязан Евг. Петров., и с трогательной благодарностью вспоминал о нем до конца дней своей жизни». «Открыл мои глаза г. Михаэлис», — обыкновенно говорил Абай. «Таким образом, Евг. Петр. явился духовным отцом Абая, прелестная поэзия которого с таким восторгом была встречена степью».¹

Друзья Абая — Михаэлис, Долгополов, Гросс и др. частыми беседами, подбором литератур, советами серьезно помогали Абаю в изучении произведений классиков русской литературы и революционеров-демократов. Детальное знакомство с трудами Белинского, Чернышевского, Добролюбова дало возможность Абаю правильно подойти к пониманию русской литературы, способствовало глубокому осмыслению социального содержания, характера и направления творчества Пушкина, Лермонтова, Крылова и др.

Таким образом Абай приступил к переводам произведений Пушкина и других русских поэтов с полным пониманием всего того огромного значения, которое имеет такая работа.

Абай неустанно пропагандировал и распространял среди казахского народа произведения передовых русских писателей и поэтов. Горячая любовь к русской литературе и культуре и благородное стремление приобщить к ним казахский народ, сделать их достоянием народных масс руководили Абаем и в его переводческой работе.

Из «Евгения Онегина» Пушкина Абай перевел всего семь отрывков: 1) Портрет Онегина. 2) Письмо Татьяны. 3) Ответ Онегина (так назван у Абая монолог Онегина в деревенском саду). 4) Второй вариант этого перевода. 5) Письмо Онегина к Татьяне. 6) Письмо Татьяны, т. е. монолог Татьяны в Петербурге. 7) Монолог Ленского (отрывок).

Кроме того, Абай создал еще одну песню, которая называется «Предсмертное слово Онегина».

На некоторых из этих переводов мы вкратце остановимся.

Портрет Онегина, как назвал его Абай, является переводом 10, 11, 12-й строфы из I главы «Евгения Онегина». Вспомним начальные пушкинские строки:

¹ Записки Семипалатинского подотдела Зап.-Сибирского отдела Русск. Географ. общества 1913, вып. VII, стр. 2.

Как рано мог он лицемерить,
Таять надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать...

Кончается песня переводом стихов:

Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!

Перевод мастерски воспроизводит текст оригинала. Хотя Абай избрал обычный в казахской литературе одиннадцатисложный размер, это не мешает ему дать изумительно точный перевод.

Каждую пушкинскую строфу Абай передает также в 14 строках, сохраняя их смысловую точность, не ослабляя художественной выразительности... (Всего у Пушкина и у Абая — 34 строки).

Письмо Татьяны. Вспомним начало пушкинского текста:

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.

У Абая читаем (все абаевские тексты даются в подстрочном переводе):

Нет выхода, не в силах я молчать,
О, как я могу сказать!
Любви болезнью я страдаю,
Перенесу все, чем бы ни наказали вы.
Печальная, несчастная — я,
Перешагнула границы стыда.
Не побоялась такого унижения...

Как видно из выше приведенного примера, стих «Любви болезнью я страдаю» (или — любви огнем я пылаю) оригиналом не задан, введен Абаем. А смысл двух строк:

Теперь я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать —

сосредоточен в одном стихе:

Перенесу все, чем бы ни наказали вы.

Последние три пушкинские строки:

Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня. —

строки, обращенные к Онегину, Абай заменяет стихами, где Татьяна говорит о себе. И только стих: «Печальная, несчастная — я» у Абая перекликается со словами «К моей несчастной доле».

Далее содержание 10 пушкинских строк Абай передает в 8 строках. Сравним тексты.

У Пушкина:

Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.

У Абая:

Сколько в силах я молчала,
Не решалась говорить.
Я б выдержала это горе,
Хоть б в месяц раз видела вас.
Но невозможно видеть вас,
И нельзя слышать ваши речи.
Если б можно, я б ждала вас
И месяц, не смыкая ночами глаз.

Перевод не нарушает смысловой точности пушкинского текста. Абай с необыкновенным мастерством находит в казахском языке слова, соответствующие оригиналу. Расхождения в выражениях, оборотах двух текстов, которые особенно бросаются в глаза при сравнении пушкинского текста с обратным переводом на русский язык абаевского текста объясняются различиями в строе речи в русском и казахском языках.

Обращает внимание, что Абай, как и в выше приведенном примере, так же и далее, оставляет без перевода слово «деревня». Видимо, Абай не хотел заменить его казахским словом «аул».

В целом перевод «письма Татьяны» близок к оригиналу, довольно верно передает содержание и эмоциональную окраску пушкинского текста. С изумительной художественной силой воспроизводит перевод образ Татьяны.

В двух вариантах дал Абай перевод монолога Онегина в деревенском саду.

По художественным достоинствам оба варианта равно совершенны. Второй вариант более близок к тексту Пушкина. Однако здесь две пушкинские строфы, т. е. 28 строк, начинающиеся словами «Когда бы жизнь домашним кругом»,...», и «Но я не создан для блаженства», переданы Абаем сокращенно в восьми строках. За исключением этих строк, перевод довольно полно и точно передает содержание пушкинского текста. С большим поэтическим мастерством находит Абай в казахском языке слова для передачи русских поэтических образов. Приведем один небольшой пример.

У Пушкина:

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.

У Абая:

Нельзя обновить ушедшую жизнь и характер;
Вы встретились с человеком недостойным вас.
Я вас люблю как брат родной,
Большого не могу обещать.
Младая дева то же, что дерево молодое,
С каждым годом меняющее свои листы.

Совсем по-иному сделан второй вариант этого перевода. Это скорее не перевод, а абаевская вариация на пушкинскую тему. Здесь Абай зачастую не сохраняет пушкинских поэтических образов, не придерживается пушкинских образных средств. Смело вводит свои образы, иногда удачно использует и фольклорные образы и сравнения. Вообще из пушкинского монолога Онегина Абай берет только общее содержание, его композиционную ткань.

Но интересно другое. Абаевская песня — это сконцентрированное сгущенное изложение образа Онегина, который дается всем содержанием романа. Абай вложил в уста Онегина его характеристику. Это своеобразная исповедь Онегина. В этой песне ярко отражено понимание Абаем образа Онегина.

Приводим отрывок:

Когда всеми сладостями жизни
Пресытилась душа моя,
Когда опустошена она от бесцельной жизни,
Встретил я тебя.
Поверь мне — радость покидала мое сердце,
Она не вернется никогда.
Теперь в жизни ничего,
Кроме смерти, нет для меня...
...Я тигр, израненный
Пулями, выстреленными в меня людьми.

Не трудно видеть, что Абай по-своему истолковывает образ Онегина, понимает его несколько своеобразно. Это отношение Абая к образу Онегина особенно ярко выразилось в стихах:

Теперь в жизни ничего,
Кроме смерти, нет для меня...

Этот мотив, уже ясно намеченный здесь, Абай разовьет еще в следующих песнях.

В понимании Абая Онегин — это человек растративший всю свою силу и энергию без пользы для людей, он человек, не нашедший своего места в жизни, жертва общественных порядков, изгнанник общества. Онегину теперь нет места в жизни, он должен умереть. С его охлажденным сердцем он неспособен и к любви. В этой связи показательны следующие характеристики Онегина, которые дает Абай:

Я несчастен в молодые годы...
Погубила меня жестокая эпоха...
Я уголь, оставшийся от пожара...
Я изгнанник общества, эпохи.

Характерен также и метод изображения Онегина. Онегин неоднократно противопоставляется Татьяне. Вот один маленький пример:

Твоя жизнь подобна розе цветущей.
Двери жизни ты найдешь.
Моя жизнь холодна и мрачна,
Как дни осени.

Свободно перевел Абай монолог Татьяны в Петербурге. Перевод в целом верно передает содержание пушкинского текста. Однако отдельные места заметно изменены, некоторые строки оставлены без перевода.

У Абая Татьяна не говорит Онегину:

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна,
Что я богата и знатна...

Абай вложил в уста Татьяны другие слова:

Ты был мой супруг богом указанный мне,
Но не смог быть им...

Смысл этих строк раскрывается в следующих стихах:

Пострадавший от зол, причиненных другими людьми,
Ты ушел и от любимой своей.

Или:

Ты тигр израненный.

Вспомним слова Онегина, вложенные в его уста Абаем: «Я тигр, израненный пулями, выстреленными в меня людьми».

Свободно перевел также Абай и «Письмо Онегина к Татьяне». В этой песне образ Онегина Абай рисует, изменяя в том направлении, как и во втором варианте «Ответа Онегина». Характерны слова Онегина:

Ты михраб мой, поклоняюсь тебе.

Признанием самого Онегина Абай показывает все превосходство Татьяны перед Онегиным.

Достойны внимания строки:

Если отвернешься ты,
Глаза мои станут темной могилой.
Лишусь я жизни,
В сырой земле я найду свое место...

Или еще:

Если наступил моей жизни конец,
Я умру.

Из этого мотива вырастает потом песня, созданная Абаем «Предсмертное слово Онегина».

Мать моя — сырая земля (дословно — отец и мать),
Открой мне объятия свои.
Нигде, кроме тебя,
Я не нашел места —

говорит Онегин в этой песне.

Так решает проблему Онегина Абай. Онегин — изгнанник общества, жертва общественных порядков, свою бессмысленную жизнь кончает так же бессмысленно с пистолетом в руках.

8 песен Абая — это неразрывное целое, объединенное сюжетным и смысловым единством. Все переводы, кроме портрета Онегина и монолога Ленского, даны в виде переписки Татьяны и Онегина. Абай выбрал из романа мотив любви. Однако Абай этим не нарушает цельности образа Татьяны и Онегина. Любовная драма вытекает (Абай сумел это показать) из жизни героев, из характера Онегина. Это достигается введением портрета Онегина и второго варианта перевода письма Онегина, на котором мы подробно остановились выше. Эта своеобразная исповедь Онегина помогает дать его цельный образ, как «изгнанника» общества, человека не нашедшего своего места в жизни, человека неспособного и к любви.

Эти песни косвенно проливают свет также и на образ Татьяны, делают его более понятным. Обаятельный образ Татьяны дан Абаем с исключительной поэтической силой. Несмотря на свободный творческий характер монолога Татьяны в целом, ее образ воспроизведен Абаем довольно близко к оригиналу.

Итак, из всего романа взяты лишь его основные стержневые моменты. И только перевод небольшого отрывка из монолога Ленского дает основание полагать, что у Абая во всяком случае был замысел дать более или менее полный образ Ленского, сделать и его действующим лицом.

Что же касается композиционного построения песен, то можно сказать, что такое их построение, где содержание романа дается через переписку Татьяны и Онегина (нет встречи в деревенском саду и в Петер-

бурге, нет и многих других деталей и подробностей, мало знакомых тогда еще казахским массам), диктовалось Абаю его желанием сделать эти переводы понятными для широкого круга читателей и слушателей.

Абай приступил к переводам «Евгения Онегина» в то время, когда передовая часть казахского народа жадно тянулась к русской культуре и литературе. Лучшие сыны народа популяризировали и распространяли произведения русских ученых, писателей и поэтов.

В эти же годы близ г. Семипалатинска жил Ускембаев, кончивший курс в Омском кадетском корпусе. О нем позже, в 1896 г., писал Гр. Потанин,¹ что он любил вечерами рассказывать своим землякам содержательные русские повестей и романов, и киргизы (т. е. казахи. — З. А.) с таким интересом слушали его, что просили записать свои рассказы; таким образом получились тетрадки, написанные по-киргизски и содержавшие в себе вольный перевод произведений Тургенева, Лермонтова, Толстого и др. Иногда во время этих вечеров в юрте киргизы пускались в суждения, и тогда, как рассказывали очевидцы, можно было слышать, как Ускембаев пользовался русскими авторитетами: «Послушайте, а вот что об этом говорит известный русский критик Белинский» или «вот какого мнения об этом был русский критик Добролюбов».

К переводам произведения Пушкина Абай приступил в то время, когда казахи-читатели степной газеты писали: «мы любим стихи, отчего редакция газеты не знакомит нас в переводе с русскими поэтами?». . . Желательно было видеть на страницах «Особых прибавлений к АОВ» (Акмолинские Областные ведомости. — З. А.) «статьи, знакомящие киргиз с русской литературой и историей».²

Этим большим интересом и любовью к русской литературе объясняется то, что переводы Абая из «Евгения Онегина» уже в 1889 г. стали широко известными по всей казахской степи.

Высоко одаренный композитор, Абай создал к своим переводам замечательные мелодии. Песни распространялись устно и в рукописях переписывались и заучивались, летели из аула в аул.

Песни из «Евгения Онегина» разносили по всей степи ученики Абая акыны Кокпай Акылбай, Магабья, певцы Муха, Асет и многие другие известные казахские певцы и акыны. И песни из «Евгения Онегина» распевались в степи как родные казахские песни, имена Татьяны и Онегина сделались такими же знакомыми и близкими, как и имена Кыз-Жибек и Баян-Слу.

О широком распространении переводов из «Евгения Онегина» свидетельствуют многие исследователи жизни и творчества Абая, а также отдельные путешественники и ученые, писавшие о казахах.

Еще при жизни Абая, в 1903 г. в XVIII томе известного труда «Россия», вышедшего под ред. В. П. Семенова, А. П. Седельников сообщил следующее: «Этому же автору (т. е. Абаю — З. А.) принадлежат хорошие переводы «Евгения Онегина» и многих стихотворений Лермонтова (который оказался наиболее понятным для киргизов); таким образом от семипалатинских уленши (певцов) можно слышать напр. «Письмо Татьяны», распеваемое, конечно, на свой мотив».³

В конце 90-х годов «Письмо Татьяны» пел певец Адилхан под аккомпанемент скрипки. Песни из «Евгения Онегина» пел и домбрист Аль-

¹ «Русское богатство», 1896, № 8, стр. 83.

² «Сибирская газета», 1888, № 25.

³ «Россия», т. XVIII, стр. 204.

магамбет и многие другие певцы — друзья Абая, и певец Аблай, живший близ Теректи-кол, и акыны и певцы, жившие во всех уголках широкой казахской степи.

В 1914 г. Рамазанов писал, что письмо Татьяны переложенное на музыку, давно уже раздается в степях.

Несколько позже «Письмо Татьяны» А. Э. Бимбоэс записал на ноты в Акмолинской области. У Османа Кашаганова, певца Петропавловского уезда (Акмолинской области) записал «Письмо Татьяны» в начале 20-х годов Ал. Затаевич.

Переводы «Евгения Онегина» широко распевались также на празднествах и свадебных торжествах. Как установлено исследователями, девушки на традиционных айтысах пели письмо Татьяны, иногда отдельные его отрывки, а джигиты отвечали словами Онегина.

В некоторых уездах и областях переводы «Евгения Онегина» превращались в народные песни, их исполнители не знали имени автора песен — Александра Сергеевича Пушкина. Об этом свидетельствует и Дм. Львович, путешествовавший по Казахстану.

Приводим цитату из его книги «По киргизской степи».

«Признаюсь, сразу я собственным ушам не поверил,—пишет он,—... вообразите только, старый киргиз распевал не более не менее, как... письмо Татьяны к Онегину. ...Письмо также имело всеобщий успех. Я спросил Аблая (так звали певца.—З. А.), не знает ли он, кто сочинил эту песню. По его словам выходило, что тоже какой-то ихний «улейши», об истинном авторе он, конечно, даже не подозревал».¹

В бумагах Пушкина найдена была запись казахской народной поэмы «Козы-Курпеш и Баян-слу», сделанная для Пушкина, вероятно, еще в 1833 г.² Полвека спустя прелестная поэма «Козы-Курпеш и Баян-слу», заинтересовавшая Пушкина, была записана акыном Бейсенбаем по поручению Абая. Но в эти годы уже поэма «Козы-Курпеш» и «Евгений Онегин» Пушкина стали равно близкими и любимыми в казахской степи.

По-казахски, на языке Баян-слу, изъяснялась Татьяна, «русская душою», натура сильная, глубокая, любящая и страстная. На казахском языке читал свою проповедь Татьяне Онегин.

Сила пушкинских идей, переведенных Абаем с высоко поэтической простотой, свойственной великим художникам, сделала переводы «Евгения Онегина» широко популярными песнями по всей казахской степи, песнями, любимыми народом.

Вдохновленные примером Абая, народные акыны давали свои переводы пушкинского «Евгения Онегина». В 1937 г. были опубликованы три различных варианта таких переводов, в том числе вариант, автором которого был один из близких учеников Абая — акын Асет.

«Пушкина, — свидетельствует в недавней юбилейной статье Мухтар Ауэзов, знаток Абая и автор известного романа о нем, — знали, заучи-

¹ Д. м. Львович. По киргизской степи, 1914, стр. 108—109.

² Л. Б. Модзалевский. Запись казахского предания в архиве Пушкина — «Временник Пушкинской Комиссии», т. III, М.—Л., 1937, стр. 323—325. Запись сделана чернилами, неизвестной рукой, на пяти листах большого формата. «Можно считать установленным, — замечает по этому поводу Л. Б. Модзалевский, — что Пушкин был знаком с одним из замечательных памятников народного казахского творчества, о котором до самого последнего времени русские читатели и писатели не имели ни малейшего представления. Лишь в 1927 г. казахская легенда переведена была (в стихах) сибирским поэтом Георгием Тверитиным».

вали не только грамотные люди, но знали большинство акынов — певцов и поющая молодежь. Прекрасные, волнующие мелодии, сочиненные Абаем к тексту письма Татьяны, к объяснениям Онегина, широко разносились по казахским степям. Помнится, как пели девушки на качелях о душевных излияниях Татьяны, как пели на свадебных торжествах, на всяких семейных увеселительных вечерах признанные певцы. И всюду я бывал свидетелем того, с каким почитанием и благоговением внимал стар и млад чарующим пушкинским строкам. Недаром грамотные девушки из абаевской среды, выходя замуж, увозили в числе своего приданого рукописный сборник стихов Абая, в котором неизменно присутствовали пушкинские, лермонтовские стихи».¹

Так носил казахский народ в своих сердцах великое и немеркнущее имя Александра Сергеевича Пушкина.

¹ Мухтар Ауэзов, Гениальные творения — «Культура и жизнь» 31 мая 1949 г.

Асп. Н. О. Шаракшинова

О ПЕРЕВОДАХ ПУШКИНА НА МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

Народная революция 1921 г. является самым знаменательным событием в истории Монголии. Она освободила страну от колониального гнета, сбросила теократов и феодалов с исторической сцены. Монгольский народ вручил свою судьбу народно-революционной партии. Рухнула феодально-эксплуататорская система, родилась новая, свободная Монголия.

Монголия — степная страна с разрозненным, кочевым населением. Она стонала под гнетом империалистов царской России и Японии, милитаристов Китая; это страна, где феодалы-князья, высшие ламы и неограниченная власть «бога на земле» — Богдо Гэгэна — держали народ в тисках чудовищной эксплуатации и несправия. Это страна, которая сломала и разрушила все преграды, победила угнетателей, создала независимое, национальное государство, заложила фундамент, обеспечивающий этому государству некапиталистический путь развития..

Победа не пришла сама собой. Она завоевана трудящимися Монголии в тяжелой кровопролитной борьбе, которая явилась прямым откликом монгольского народа на Великую Октябрьскую социалистическую революцию в России. Победа Октябрьской революции, создавшей первое в мире государство трудящихся, была ярким примером для всех угнетенных народов и Запада и Востока. Она рождала у народов всех стран, в том числе и Монголии, веру в светлое будущее, втягивала их в борьбу с угнетателями. Она превращала национально-освободительное движение монгольского народа из частного в общее, выводя угнетенные народы Монголии на мировую арену борьбы с империализмом.

Первым шагом молодого народного революционного правительства было установление дружественных отношений с Советской Россией.

Монгольская Народная Республика установила с Советским Союзом не только политические, но и культурно-экономические связи. Ярким свидетельством культурного содружества служит возросший интерес в МНР к русской классической и советской литературе, богато представленной в переводах на монгольский язык.

Интерес к русской литературе и вообще к русской культуре не случайный факт, так как русская литература несомненно самая передовая литература в мире.

О благоотворном влиянии советской литературы на развитие современной монгольской литературы говорил в своем выступлении на I съезде монгольских писателей заведующий отделом пропаганды ЦК МНРП Дугур Сурун. Он отметил, что современная монгольская литература развивалась и развивается под влиянием лучших образцов со-

ветской литературы, которая определила характер и идейную направленность монгольской литературы. Далее Дугур Сурун обращал внимание на то, что молодые монгольские писатели на примере советской литературы и ее социалистического реализма учатся изображать в своих произведениях жизнь народа, его борьбу и лучшие устремления.

В дореволюционной Монголии художественная литература была развита очень слабо. Трудовые слои монгольского народа из поколения в поколение устно в песнях, поэмах, былинах, поговорках, пословицах передавали свои мысли и чаяния. В песнях и сказаниях народ воспевал свободу, мечту о счастье, о светлом будущем. Монгольские феодалы и иностранные поработители искореняли монгольскую культуру, не давали возможности развиваться народным талантам.

Дореволюционная письменная монгольская литература, в основном, была переводной. Оригинальных произведений, даже религиозно-мистического содержания, было мало, что же касается произведений светского характера, то они почти отсутствовали.

Переводились сочинения с восточных языков, например, с тибетского, различных буддийских писателей и поэтов, поэмы мистика Миларайбы, а также многочисленные легенды и притчи, повествования о похождениях Молон-Тойна.

В них воспеваются учение Будды, подвиги буддийских монахов и святость их жизни. Из Индии через Тибет проникали в Монголию и получали большое распространение многие повести и рассказы, как например, «Волшебный мертвец», сказание о царе Викрамадитья, сказки из «Панчатантры» и т. д., с китайского языка переведено большое количество романов и повестей, например, романы «Сань-го-джи» (История трех стран), «Эль-думей», сказание о Тансан-ламе и др.

До революции монгольская литература, печатавшаяся ксилографическим способом и в ограниченном количестве, была известна лишь правящей верхушке — княжеско-клерикальным слоям Монголии.

Собственно монгольская оригинальная литература, свободная от религиозно-мистического содержания, появляется лишь после аратской революции 1921 г. С этого времени стала развиваться новая литература, национальная по форме, революционная по содержанию.

Советская литература помогает дальнейшему развитию и росту молодой монгольской литературы.

В первые годы революции преобладают драматические произведения и стихи. Появляется поэзия антифеодалная и антиимпериалистическая по своему содержанию. Эта поэзия первоначально ничем не отличается по форме от народных песен, построенных на аллитерации и рифмовке начальных и конечных слогов.

Примерно с 1926 г. в монгольской литературе появляются первые образцы прозы. Из прозаических произведений того периода можно назвать повесть «Толбо нур», появившуюся в 1926 г. В ней описывается гражданская война в Монголии. Появляются коротенькие рассказы Нова Намжила. В 1929 г. выходит первый рассказ Ц. Дамдин-Сурэна «Гологдоксон хухэн» — «Отвергнутая девушка». В этих произведениях отражается жизнь Монголии того периода, ее быт и нравы, люди, главным образом, новые люди — представители революционной молодежи — и их столкновения со старым.

Авторы этих произведений ярко изображают борьбу нового со старым, процесс переделки сознания людей и их морально-политический рост в революционной борьбе.

В фольклоре современной Монголии освобожденный монгольский

народ воспеваает своих лучших сынов, борцов за национальную независимость. Литература живо откликается на все то, что ныне волнует монгольский народ и чем живет Монгольская Народная Республика.

Наиболее любимыми образами в песенной поэзии являются образы вождей мирового пролетариата Ленина и Сталина, образы вождей монгольской революции Сухэ Батора и Чойбалсана.

О братском содружестве советской и монгольской литературы говорит передовая газеты «Унэн» — Правда от 2/V—1948 г. «Сила и остротность нашей литературы заключается также в кровном родстве с самой передовой в мире литературой советского народа. В произведениях советских авторов наши писатели находят образцы высокой идейности, партийности, примеры яркого всестороннего отражения жизни и борьбы народа, находят в ней положительного героя, нового социалистического человека, который стал идеалом для всего передового человечества. Наши писатели воспитываются на произведениях классиков советской литературы: М. Горького, Д. Фурманова, В. Маяковского, Н. Островского и других современных писателей: А. Фадеева, И. Эренбурга, К. Симонова, Б. Горбатова, В. Катаева, В. Василевской».¹

Талантливый монгольский поэт Ч. Чимит, выражая мысли и чувства своих коллег по перу, в статье, посвященной подготовке к съезду монгольских писателей, пишет: «Русская литература — это голос передового человечества, сокровищница его лучших стремлений, мыслей, чаяний. Читая и перечитывая произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Горького, Маяковского и других писателей, я ясно видел, что лишь безграничная любовь к своей Родине, к своему народу, страстная борьба за его идеалы, подобно каплям «живой воды», обесмертили чудесные строки этих титанов человеческой мысли».²

Наряду с оригинальной монгольской литературой появляется и переводная литература с русского языка. В 1925 г. посол Монгольской Народной Республики в Москве от имени монгольских писателей обратился к А. М. Горькому с просьбой, указать для перевода на монгольский язык книги, которые могут принести наибольшую пользу монгольскому народу.

А. М. Горький, основоположник советской литературы, который был первым и лучшим художником-воспитателем советских писателей, ответил монгольским литераторам большим письмом.³

А. М. Горький отметил, какую великую и трудную задачу ставит перед собою монгольская интеллигенция, начиная переводы русской художественной литературы на монгольский язык.

Алексей Максимович указывал, что наиболее полезна для народа проповедь принципа активности, активного отношения к жизни. Поэтому, надо переводить те книги, в которых этот принцип выражен наиболее ярко, те книги, которые проникнуты напряжением мысли, стремящейся к действительной свободе, а не к свободе бездействия.

На монгольский язык переведены десятки произведений крупнейших писателей русской классической литературы, а также произведения современной советской литературы.

Наибольшее внимание переводчиков привлекли произведения великого русского писателя А. С. Пушкина.

¹ Газета «Унэн» от 2 мая 1948 г., 77(1807), из статьи «Знаменательные события».

² Газета «Унэн» от 31 марта 1948 г., № 75(1805), из статьи «На правильном пути».

³ Журн. «Современная Монголия». 1936, № 4—5, стр. 17, «А. М. Горький».

Первое знакомство монгольских читателей с произведениями великого русского писателя А. С. Пушкина относится к 1936 г. За переводы взялись виднейшие монгольские поэты и прозаики: Ц. Дамдин-Сурэн, Д. Нацокдоржи, Дашидоржи, Ш. Нацокдоржи, Э. Оюн, Х. Перлээ, Гонгоржаб, Цеденжаб, Дэлик-Мунко и др.

Широкий охват русской жизни, глубокая народность пушкинских произведений, красота и музыкальность его языка, привлекали внимание переводчиков.

На монгольский язык переведено около 30 произведений А. С. Пушкина.

Особенно оживился интерес к Пушкину и его творчеству в Монголии в связи с пушкинскими днями в 1937 г., когда все народы Советского Союза отмечали столетие со дня смерти своего великого поэта.

Интерес к произведениям А. С. Пушкина проявился не только среди монгольских писателей, интеллигенции, но и среди широких масс трудового аратства. Произведения великого писателя в переводах и в оригинале появляются не только в библиотеках, читальнях, но и в юртах аратов, кочующих по безбрежным пустыням Гоби и монгольских степей.

Недаром поэт сказал:

Пушкина творенья, его звучные напевы
На всех языках зазвучали,
И скотовод степей, монгол Гоби
Читает Пушкина стихи...¹

На монгольский язык переведены стихи, поэмы, драматические и прозаические произведения.

В 1936 г. было издано несколько стихотворений: «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (в перев. Ц. Дамдин-Сурэна), «Узник» (в перев. Д. Нацокдоржи) и трагедия «Борис Годунов» (перев. Б. Ринчина).

В 1937 г. ко дню юбилея появляется ряд произведений: «Аквилон» (перев. Н. Цеденжаба), «Анчар» (перев. Д. Нацокдоржи), «Ворон к ворону летит» (перев. Д. Нацокдоржи), «Земля и море» (перев. Д. Нацокдоржи), «Туча» (перев. Дамдин-Сурэна), «Письмо Татьяны» из «Евгения Онегина» (перев. Дашидоржи), «Выстрел» (перев. Д. Нацокдоржи), «Метель» (перев. Э. Оюн), «Сказка о золотом петушке» (перев. Дашидоржи).

В 1938 г. появился перевод «Песни о вещем Олеге», сделанный Ц. Дамдин-Сурэном.

В 1940 г. опубликована в переводе Дамдин-Сурэна «Сказка о рыбаке и рыбке». В 1941 г. переведены стихи «Зимняя дорога» (перев. Ш. Нацокдоржи), «К няне» (перев. Ш. Нацокдоржи), «Конь» (перев. Х. Перлээ); из повестей — «Барышня-крестьянка» (перев. Б. Ринчина).

В 1942 г. переведены «Капитанская дочка» (перев. Э. Оюн), «Памятник» (перев. Х. Перлээ).

В 1944 г. опубликовано стих. «Шопот» (перев. Гонгоржаба). В 1946 г. появилась сказка «О царе Салтане» (перев. сделан Дэлик-Мунко и Джадамба), повесть «Дубровский» (перев. Гонгоржаба). Поэма «Цыганы» (перев. Цеденжаба).

Из сделанного выше перечня видно, что на монгольский язык переводились произведения различного характера.

Ведущие поэты и писатели Монголии, лучшие переводчики пушкинских произведений Ц. Дамдин-Сурэн, Э. Оюн, Д. Нацокдоржи удачно

¹ Ц. Дамдин-Сурэн. Избр. произв., Госиздат, Улан-Батор, 1944, Стих. «Пушкин», стр. 38—39.

выбрали именно те произведения гениального русского художника, которые наиболее близки и доступны пониманию широких масс монгольского народа.

Литераторы Монголии приложили немало усилий, чтобы точно передать содержание, сохранив всю глубину человеческих чувств, правдивость в изображении действительности, свойственную Пушкину, и красоту и силу пушкинского творчества.

Переводчикам удалось передать оптимизм великого писателя, жившего в мрачные дни тяжкого порабощения народов царской России, его веру в грядущее освобождение и возрождение этих народов, его призыв к борьбе за торжество разума, просвещения и свободы.

Переводы Пушкина в развитии современной монгольской литературы, несомненно, играют весьма видную роль. По количеству они еще не могут быть названы достаточными, но по своему качеству они, в большинстве своем, хороши. Эти переводы могут быть названы, пользуясь терминологией покойного акад. Л. В. Щербы, действительно реальными переводами, передающими на правильном современном монгольском языке образы и язык Пушкина. Таким образом, переводы эти удачно выполняют задачу всякого перевода, не отходя далеко от подлинника, знакомя читателя с идейным содержанием, с общим характером произведения, с образами и стилем писателя.

Наиболее удачные переводы принадлежат писателю и поэту Ц. Дамдин-Сурэну.

Язык Дамдин-Сурэна живой, образный, простой, близкий к современному разговорному языку и легко доступен широким массам читателей.

Примером наиболее точной передачи как содержания и образов, так и музыкальности стиха может служить, по моему мнению, перевод стихотворения «Туча».

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день —

которое на монгольском языке звучит так:

Арилсан борооны эцсийн үүл
Ариун огторгуйд ганцаар ховболзбод,
Бараан сүдрээ газарт буулгаж,
Баярт одрийг гутааж байна.

Думаю, что даже не знающие монгольского языка, ощущают ритмичность перевода, близкую к ритму стихотворения «Туча», что же касается образов, то они переведены довольно точно. Так, в первой строфе вместо «туча рассеянной бури», мы имеем «туча прошедшего ливня», вместо «несешься по ясной лазури» — «плывешь по чистой лазури», вместо «наводишь унылую тень» — «темную тень», вместо «печалишь ликующий» день — «портишь радостный день».

Можно сказать, что образы перевода в этой строфе очень близки к пушкинским. Единственный образ, дающий несколько замедленное движение, это «плывешь по чистой лазури» вместо пушкинского стремительного «несешься по ясной лазури».

Вторая строфа:

Ты небо недавно кругом облежала,
И молния грозно тебя обвивала,
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Саяхан чи тэнгэрийг бүрхээд
 Сацарсан цахилгаан чамайг ороогоод,
 Аянгийн дууг нижигнүүлэн бэйж,
 Ангасан газрыг хураар ундалба.

Первая строка переведена совершенно точно. Вторая и третья строки переведены при помощи привычной для монгольского языка деепричастной формы: вместо

И молния грозно тебя обвивала;
 И ты издавала таинственный гром

сказано

Сверкнувшая молния, обвивая тебя,
 Звук издавая громовый.

Слово «таинственный» осталось без перевода. Затем последняя строка: здесь вместо «алчную землю» сказано «жаждущую землю». Таким образом вместо пушкинской строки «И алчную землю поила дождем» сказано «жаждущую землю поила дождем». Точнее бы было перевести «жадную землю», но и этот перевод нельзя не признать удачным, так как он только несколько смягчает эпитет, но не меняет основного смысла.

В третьей, последней, строфе дан несколько более вольный перевод. Вторая строка пушкинского стиха сделана первой строкой. Вместо энергичного «буря промчалась», дано «буря прошла». Эмоциональный приказ: «Довольно, сокройся!» заменен спокойным: «Хорошо сокрыться!»

Последние две строки переведены совершенно точно, пропущено только слово «древес». Сказано просто «листочки».

Думаю, что без всякого преувеличения можно назвать перевод удачным и точным, более точным и, принимая во внимание значительно меньшую разработанность монгольского стиха и большую отдаленность русской поэзии от монгольской, не менее талантливым, чем стихотворение «Сосна» — знаменитый перевод Лермонтова из Г. Гейне, подробный анализ которого дан в известной статье акад. Л. В. Щербы, помещенной во II томе «Советского языкознания» за 1936 г.

Перевод стихотворения «Туча» сделан средствами монгольского стихосложения в ритме монгольского стиха с рифмовкой начальных слогов и аллитерацией.

Дамдин-Сурэн, не ограничиваясь только практикой перевода, впервые дал на монгольском языке некоторые теоретические положения о переводе с русского языка.

Во втором номере журнала «Шинэ толь» — «Новое зеркало» (1938) напечатан перевод «Песни о вещем Олеге» с примечаниями. Параллельно с монгольским текстом дан русский текст и примечания на русском языке. В этом же номере журнала Дамдин-Сурэн в обширной статье высказывает свои соображения по поводу сделанного им перевода «Песни о вещем Олеге» и переводов некоторых других стихов.

В начале статьи Дамдин-Сурэн знакомит монгольских читателей с задачами, стоящими перед переводчиками. Далее он практически показывает на своих переводах, главным образом, на переводе «Песни о вещем Олеге», способы точной передачи идейного и фактического содержания стихотворения, образов и музыкального ритма стиха.

«Песнь о вещем Олеге» по своей тематике и по образам близка к монгольской народной поэзии: тот же воинственный дух, те же знакомые образы воинственного князя, волхва-предсказателя, любимого коня, знакомые монголам щиты и стрелы, но, с другой стороны, здесь много далекого от Монголии: Царьград, Киев, Днепр, хозары, Перун, дружина, тризна, секира, праща и др.

Дамдин-Сурэн сохраняет в переводе все собственные имена, и новые, незнакомые монгольскому читателю образы, дает к ним, хотя и краткие, но удачные объяснения, которые делают перевод до конца понятным читателям. Что касается самой техники передачи стиха, то здесь Дамдин-Сурэну удается передать тон несколько торжественного повествования, но другими средствами, чем это сделано у Пушкина. А именно: при помощи объединения самостоятельных пушкинских предложений, связанных с одним центральным образом в одно монгольское предложение с несколькими деепричастными формами, что и придает на монгольском языке нужный темп речи. Так, в первой строфе три самостоятельных предложения, связанные с образом Олега:

Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хозарам:
Их села и нивы, за буйный набег,
Обрек он мечам и пожарам.
С дружиной своей, в царьградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.

Олег сэцэн ноянтан
Олон баатарга дагуулан,
Тэнэг мүсийн хазааруун
Тэрслэн даариксануу харнуд,
Гал мэсийн аюулаар
Газар оронийн сүйдхэж,
Ушиё хоросхолоо абхийг
Унóб забдон бэлэдхэж,
Хаану хотод хигсэн
Хатан хуягаа эмбсчу,
Хүлэг морёо унаад,
Худóб тээшэ ябаба.

Первую строфу Дамдин-Сурэн переводит одним предложением с подлежащим «Олег», с четырьмя деепричастными формами: «ведя за собой», «желая разорить», «готовясь мечь за зло воздать», «сев верхом» и со сказуемым «отправился». Также переведена вторая строфа, посвященная кудеснику. Дамдин-Сурэн, не считая такое объединение стрóf обязательным, переводит, например, четвертую строфу, сохраняя количество пушкинских предложений, но большинство стрóf переводится путем соединения.

Этот принцип, не нарушая ритма пушкинского стиха, придает переводу характер, близкий к строю монгольской эпической поэзии.

Работая над переводом, Дамдин-Сурэн, как он сообщает в названной выше статье, занумеровал каждое слово и подобрал к нему наиболее точно передающее его содержание монгольское слово. При этом оказалось, что многие русские слова на монгольском языке приходилось передавать не одним словом, а словосочетанием из двух, а иногда и более слов. Например, два слова «ныне собирается», пришлось перевести словами «теперь, готовясь, собирается», слово «отомстить» совершенно не имеет эквивалента на монгольском языке. Его пришлось перевести сочетанием из трех слов: «мечь за зло воздать». Два слова «царьградская броня» оказалась необходимым перевести причастным оборотом «сделанная в городе хана, закаленная броня».

Таких случаев оказалось много. Это заставило Дамдин-Сурэна разбить каждую пушкинскую строчку на две части, таким образом, в каждой строфе перевода оказалось не шесть строк, как у Пушкина, а двенадцать.

Перевод «Песни о вещем Олеге» пользуется большим, вполне заслуженным успехом среди монгольских читателей.

Из сказок, как было сказано выше, переведены следующие: «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О царе Салтане».

Сказка «О рыбаке и рыбке» по-существу является не переводом, а художественной переработкой (Ц. Дамдин-Сурэна). Сюжет сказки сохранен, но в ней выведены персонажи, быт, природа монгольские. Сказка эта в художественном отношении так искусно переделана, что она монгольскими читателями воспринимается как родная монгольская сказка.

Перевод сказки «О золотом петушке», сделанный Дашидоржи, к сожалению, нельзя считать удачным. Это не художественный перевод, а простой подстрочник, довольно точно передающий фабулу, но ни в какой мере не отражающий ни музыкальности, ни образности пушкинского стиха, не передающий ни эмоциональности, ни острого идейного содержания сказки.

Несравненно более удачно переведена «Сказка о царе Салтане». Этот перевод, принадлежащий Дэлик-Мунко и Джадамба, хотя и менее удачен, чем перевод Дамдин-Сурэна, является несомненно художественным.

В общем, о сказках можно сказать, что они в широких читательских кругах, а также и во всей аратской массе, несмотря на отдельные неудачные переводы, как сказка «О золотом петушке», читаются и рассказываются с величайшим интересом. Они стали настолько популярными, что вошли в монгольский фольклор, они воспринимаются и рассказчиками и слушателями как свои собственно-монгольские сказки и передаются из уст в уста.

С произведениями А. С. Пушкина большинство монгольского населения знакомо не только в переводах, но и в подлинниках.

Как известно, во всех монгольских школах изучается русский язык и русская литература, а потому не только каждый образованный монгол, но и большинство аратов знает язык дружественного Монголии русского народа. Пушкина читают не только в городах, но и в степях Монголии.

В Монголии не только знают и любят Пушкина, но и изучают его жизненный путь и творчество.

На монгольском языке имеются не только переводы произведений Пушкина, но также и ряд работ историко-биографического, публицистического характера.

В своей статье о Пушкине Цевен¹ дает анализ творчества великого поэта, называет его бесстрашным певцом, передовым борцом за светлое будущее человечества.

Н. П. Шастина в своей работе «100 лет со дня смерти Пушкина» дает на монгольском языке творческую биографию поэта.²

Талантливый поэт и прозаик Монголии Д. Нацокдоржи в своих беседах с товарищами о литературе называет А. С. Пушкина «жемчужиной человечества», «светлой звездой», озарившей «закабаленную страну царя Николая», далее он говорит, что лишь теперь, в советское время, произведения Пушкина проникли всюду, что только ныне, при советской власти, сбылись вещи строки его знаменитого «Памятника».

Существует еще целый ряд работ, к сожалению, известных мне лишь по названию.

¹ Цевен. 100 лет со дня смерти Пушкина, журн. «Шине толь», 1937, № 1, стр. 211—212.

² Н. П. Шастина. 100 лет со дня смерти Пушкина, журн. «Шине толь» 1937, № 5—6, стр. 208—220.

Произведения гениального русского поэта А. С. Пушкина, переведенные на монгольский язык, распространяются не только через печать, но также и при помощи радио.

Переводы, обогащая монгольский язык новыми словами, новыми понятиями, служат могучими факторами развития национальной культуры и литературы.

Я не ставлю перед собою задачи проследить влияние Пушкина на творчество монгольских писателей, так как это требует подробного изучения современной монгольской литературы и специального исследования, но все же считаю возможным сказать по этому поводу несколько слов.

При первом знакомстве с творчеством современных монгольских писателей без особо пристального анализа можно заметить следы пушкинского влияния. Пушкинские образы, манеру изложения, отдельные мотивы находим в творчестве Д. Нацокдоржи, особенно в цикле его стихов о временах года: «Зима», «Лето», «Осень» и «Весна».

Влияние Пушкина сказывается и в творчестве одного из ведущих писателей Монголии Ц. Дамдин-Сурэна, особенно ярко в стихах «Прогулка», которые написаны под впечатлением поездки по «Пушкинским местам» во время путешествия по Кавказу в 1936 г.

В этом стихотворении Дамдин-Сурэн, пользуясь образами Пушкина, живо, ярко и реально описывает природу Кавказа.

Образ Пушкина нашел свое поэтическое отражение в стихах Дамдин-Сурэна, написанных им в 1937 г. в дни скорбного юбилея — 100-летия со дня смерти великого поэта. В своих стихах Дамдин-Сурэн воспевает величие любимого всеми поэта, несравненный творческий дар и мастерство великого художника, его всемирную славу и мировое значение его творчества. Вот это стихотворение в дословном переводе.¹

А. С. ПУШКИН

Среди великой русской нации
Мудрецов, умом блестящим обладающих,
Светлых, как звезды, мыслителей
Много являлось всегда.

Средь великих мудрецов тех
Великий Пушкин выдается.
Блестит он ярко, как луна,
Средь звезд небесных.

Родился Пушкин Александр
Народу свободы желавший,
С просторным умом и острым талантом
Создал он славные песни свои.

Но царской власти травля
Певца любимого народом, безмерно тесня, погубила
Подобно тому, как черная туча небосклон покрывает
И месяца серп золотой затмевает.

Прошло сто лет с тех пор,
Как умер великий певец.
Народа жизнь изменилась безмерно,
Иною совершенно стала она.

Революции ветер черную тучу рассеял,
Лазурь небес высоких открылась,
Луна-волшебница ярким светом засияла
И множеством ярких лучей небосклон озарила.

Пушкина творенья, его звучные напевы
Зазвучали на всех языках:

¹ Перевод, сделанный мною, передает точно содержание стихотворения, но отнюдь не претендует на художественное его воссоздание на русском языке.

Скотовол степей, монгол гоби
 Читает Пушкина стихи.

Поэт, стихи слагая, из слов составляет узор,
 Подобный узору камней самоцветных.
 Его создания как драгоценность сияют,
 К стремленьям высоким призывом звучат ободряющим.

Когда услышишь Пушкина создания,
 Словно действительность видишь глазами,
 Создания таланта и мысли его,
 Словно образы в чистом зеркале видишь.

Поэт творенья свои создает,
 Слова в сочетаньи слагая,
 Как зодчий из дерева или из камня,
 Возводит высокие здания.

Из слов создаются разумные речи,
 Из звуков мотив музыкальный рождается,
 Стихи создаются из слов благозвучных и мудрых,
 И Пушкин — мастер великий такого искусства.

Его стихи подобны
 Пению соловья.
 Любому они по душе,
 Их не любить невозможно.

Они словно теплсе дэли¹ в зимнюю стужу,
 Прохладный напиток в летний зной,
 Словно в темную ночь сиянье луны,
 Словно влюбленному милой уста.

В них простор и удивленье,
 Прочтем и возликуем!
 В час отдыха — это наслажденье!
 В час работы — вдохновенье!

¹ Дэли — теплая шуба из меха, мерлушки.

Канд. филол. наук А. З. Розенфельд

А. С. ПУШКИН В ПЕРСИДСКИХ ПЕРЕВОДАХ

Начало XIX в. в Иране связано с так называемой эпохой пробуждения. Развиваются экономические и культурные связи с Россией и Западной Европой, возникает литография, в 30-х годах выходит первая литографированная газета. Новые веяния находят свое отражение и в литературе. Центром же политической и культурной жизни в этот период являлся Тавриз, где находилась резиденция наследника персидского престола Аббаса-мирзы (1738—1833), при котором были аккредитованы все иностранные дипломатические миссии. Здесь протекала дипломатическая деятельность великого русского писателя А. С. Грибоедова, значительную часть своей жизни проведшего на Кавказе.

Современниками Пушкина были крупнейшие азербайджанские поэты-просветители, передовые люди своего времени Аббас Кули Ага Бакиханов (1794—1847) и Мирза Фатхали Ахундов (1812—1878), находившиеся в личных отношениях с высланными на Кавказ декабристами. Они и другие демократические деятели Кавказа явились проводниками, передатчиками русского влияния, русской культуры на страны Ближнего Востока, в том числе и на Иран.

На Кавказе был и сам Пушкин, впечатления которого от этой поездки отразились в целом ряде поэтических произведений и в путевых очерках «Путешествие в Арзрум». В последнем Пушкин между прочим описывает свою встречу с придворным поэтом Аббас-мирзы Фазыл-ханом, направлявшимся в свите внука Фатхали шаха Хосров-мирзы из Тавриза в Петербург в связи с трагической гибелью А. С. Грибоедова.¹

«Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта, и, по моему желанию, представил меня Фазил-хану. Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-хан отвечал на мою неуместную затейливость просто, умной учтивостью порядочного человека: «Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительным и проч.» — и далее — «Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папахе и по крашенным ногтям».² Через два дня Пушкин в Пасанауре встретил главу миссии принца Хосров-мирзу («сам он выглянул из ко-

¹ Эта встреча произошла 24 мая 1829 г. в пути между сел. Казбек и сел. Коби. Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, изд. 2, СПб. 1910, стр. 188.

² А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, 1937—1948, VIII, I, стр. 452.

ляски и кивнул мне головою»). Еще через две недели 11 июня 1829 г. вблизи крепости Гергеры по дороге в Карс Пушкин встретил тело Грибоедова.¹

Судя по имеющимся у нас материалам, воспитатель Хосров-Мирзы Фазыл-хан Шаида сын Мухаммед Хусейна был для своего времени передовым человеком.

При занятии Тавриза русскими войсками в 1827 г. он выступил с сатирическими стихами против мусульманского духовенства, а также против министра иностранных дел Персии и отказался от духовной деятельности. В 1828 г. он присутствовал при подписании туркманчайского договора, где был также и Грибоедов. Во время пребывания в Петербурге (с 4 августа по 17 октября 1829 г.) в составе персидского посольства Фазыл-хан высказал желание остаться в России в качестве преподавателя восточных языков,² что и выразил в преподнесенной Николаю I касыде.³

Свое намерение он осуществил лишь в 1838 г. Когда после смерти Аббас-мирзы персидский престол перешел в руки Мухаммед-мирзы, ослепившего Хосров-мирзу, Фазыл-хан бежал на Кавказ и здесь в 1842 г. принял присягу на русское подданство. Он преподавал в шиитском духовном училище персидский и арабский языки, а также был неизменным помощником известного русского востоковеда Н. Ханькова в его занятиях по археологии Кавказа и персидской и арабской эпиграфике.⁴ Фазыл-хан умер в Тбилиси 1 марта 1852 г.⁵

Совершенно несомненно, что встреча с Фазыл-ханом произвела на Пушкина большое впечатление, и это понятно, если вспомнить о том интересе, который проявлял Пушкин к восточной и, в частности, персидской теме в поэзии. Лучшим подтверждением этого являются три небольших стихотворных наброска, посвященные этой встрече.⁶ Первый из них написан на рисунке, на котором стоит дата 25 мая, Коби:

Благословен и день и час,
Когда (в горах Кавказа)
Судьба соединила нас.⁷

¹ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, 1937—1938, VIII, 1, стр. 460, а также Н. А. Троицкий, Где встретил Пушкин тело Грибоедова. Изв. Крымского пед. ин-та им. Фрунзе, т. XII, 1947, стр. 183—186.

² Акты, собранные Кавказской археологической комиссией, т. VII, 1878. Отношение графа Нессельроде к графу Паскевичу от 16 октября 1829, № 705, стр. 711.

³ М. Розанов. Персидское посольство в Россию 1829 г. (по бумагам графа П. П. Сухтелена). Русский архив, 1889, кн. 1, стр. 238—240. (Хотя Фазиль не оказал еще тебе никакой услуги, но по великодушию своему прими его в число рабов твоих) — . . . он рошдет на превратности судьбы: дай способ воспротивиться ей. . .). Перевод этой касыды вскоре напечатан был в петербургском альманахе «Подснежник» на 1830 г. О пребывании Фазыл-хана в Петербурге, см. в воспоминаниях О. А. Пржецлавского («Беглые очерки» — «Русская старина» 1883, август, стр. 404—405).

⁴ Н. Ханьков. Археологическое известие, «Кавказ», 1850, 28 июня, отд. отт.

⁵ Н. Ханьков. Некролог, Фазыл-хан, «Кавказ», 1852, № 19. См. также А. В. Попов. Из кавказских встреч А. С. Пушкина. 1. Фазыл-хан Шейда; в «Пушкинском борнике» (Труды Ставропольского Государственного Педагогического института, вып. IV), Ставрополь, стр. 5—7.

⁶ Приезд Фазыл-хана в Петербург был также «Отмечен» двумя стихотворениями Хвостова. Первое называлось: «Свидание русского поэта с персидским в Таврическом дворце августа 8-го дня 1829 г. (Связав сердца любовию святой слил с севером далекий край Востока и Фазиль-хан Евфрата от потока прозрачною любится Невой)». Второе — «Фазиль-хану Шейда. По случаю воздухоплавания Робертсона», на котором автору случилось быть с персидским поэтом 1829 года 19 августа. Полн. Собр. соч. графа Хвостова, 1830, т. V, стр. 117—119, 379.

⁷ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., 1949, III, 2, стр. 729.

На рисунке сверху изображены кавказские горы, сакля, черкешенка, черкес в бурке; внизу — портреты: в середине — самого поэта в черкесской шапке, направо от него два портрета Наполеона I, голова Павла I и две головы неизвестных лиц.

Другой набросок прямо адресован Фазыл-хану:

Благословен твой новый путь
Твой путь на север наш суровый,
Где кратко царствует весна,
Но где Гафиза и Саади
Знакомы имена.
Ты посетишь наш край полночный,
Оставь же след.
Цветы фантазии восточной
Рассыпь на северных снегах.¹

Из ответа Фазыл-хана Пушкину во время их встречи можно было бы сделать вывод о том, что гениальный русский поэт еще при жизни был известен в Иране, в частности, в Тавризе. Во всяком случае в прозаическом переводе на смерть Пушкина «Восточная поэма» Мирзы Фатхали Ахундова, написанной на персидском языке в год кончины великого поэта, упоминаются такие произведения Пушкина как «Кавказ», «Талисман», «Бахчисарайский фонтан».² Эта поэма является предметом многочисленных статей.³ Впервые она была опубликована на русском языке в 1837 г. в «Московском телеграфе» в переводе самого автора; литературный перевод А. А. Бестужева-Марлинского напечатан в 1874 г. в «Русской старине». Интересно отметить, что эта поэма была прочтена в юбилейном пушкинском радио-концерте из Москвы для Ирана и Афганистана 8 февраля 1937 г.

Одним из первых известных нам переводов Пушкина на персидский язык является прозаический пересказ «Сказки о рыбаке и рыбке», изданной с учебными целями в Ашхабаде в 1916 г., при участии преподавателя коммерческого училища Э. Э. Тэйлэ, редактировавшего издание и составившего словарь к нему, и А. Мамедова. Пересказ написан простым языком.

Из переводов, вышедших в Иране, наиболее ранний из зарегистрированных мной, относится к 1927 г. В этом году в рещтской газете «Иране кабир» в переводе редактора газеты Екикьяна была напечатана повесть «Дубровский».

Литературная революция в Иране выразилась прежде всего в возникновении в самом начале XX в. художественной прозы, вовсе отсутствовавшей до этого времени. Художественная персидская проза прошла сложный путь развития от исторического романа через роман, критически рисующий писателю современную жизнь, к короткому психологическому и реалистическому рассказу. Идет борьба за литературный язык, который приближается к живому общедоступному языку, освобо-

¹ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., 1949, III, 1, стр. 160.

² Ахундов. Мирза Фатхали. Восточная поэма на смерть А. С. Пушкина, Баку, 1937.

³ А. Берже. Восточная поэма на смерть Пушкина, «Русская старина», 1874, т. IX, М. Рафили, Пушкин и Мирза Фатхали Ахундов, «Пушкин, Временник Пушкинской комиссии», т. II, 1936.; А. Сеид-Заде, «Ахундов — Пушкин» — «Литературный Азербайджан» 1938, №12, он же, «А. С. Пушкин и М. Ф. Ахундов». Изв. АН Азербайджанской ССР, № 6, 1949; Ф. Касум-заде, «А. С. Пушкин и М. Ф. Ахундов» в сборн. «А. С. Пушкин и азербайджанская литература», Баку, 1949. На персидском языке: Пушкин ва Сабухи, Хамза Сардадвер (Талибзаде) «Армаган» 1937, май, № 2; Али Асгер Хекмат. Пушкин дар ше'ре фарси. «Пяме ноу», 1947, № 2.

дьясь от груза вычурных и надуманных украшений, присущих издавна персидской прозе.

В 30-х годах XX в. в персидской художественной прозе начинает развиваться реалистический стиль, который находит своего лучшего выразителя в лице Садека Хедаята. Не случайно, что именно в самом начале 30-х годов на персидском языке появляются переводы реалистической прозы Пушкина. До этого времени на персидский язык из русской литературы были переведены лишь некоторые так называемые «народные рассказы» Л. Н. Толстого (1907—1910), «Демон» Лермонтова (1922), рассказ Горького «Часы» (1922), а также ряд романов, повестей и рассказов из западноевропейской литературы, но можно смело утверждать, что Пушкин является первым писателем не только в русской, но и в западноевропейской литературе, художественная проза которого почти полностью на протяжении 30-х годов была переведена на персидский язык. Именно с этого периода в персидской прозе особенное развитие получает жанр короткого рассказа, почти вытеснивший впоследствии роман.

В 1931—1932 гг. (1309—1310) издательство Ховар в серии «Афсане» тоненькими книжками небольшого формата выпускает три повести А. С. Пушкина: «Пиковая дама» (Биби голаби) перевод Солтана Шарефедина Кахремани (выпуски 39-й и 40-й), «Выстрел» (Тир-е таппанча), перевод Мирзы Хосейн хана Ансари (выпуски 49-й и 50-й) и в выпусках с 51-го по 60-й в переводе Парвиза Нателя Хонлари была напечатана «Капитанская дочка» (Дохтар-е солтан), изданная одной книгой.

Эти ранние переводы следует расценивать как первые попытки передачи пушкинской прозы на персидский язык, и в этом заключается их большое значение. Некоторые из этих переводов не лишены были недостатков, таких, как искажение русских собственных имен, пропуски отдельных эпитетов, играющих весьма большую роль в характеристиках образов героев или явлений, пропуски целых фраз, добавления и, наконец, неверная передача текста. Все это связано с незнанием переводчика с русской действительностью, так замечательно отраженной в произведениях Пушкина, с незнанием многих предметов русского быта, обихода, а в ряде случаев является следствием непонимания переводчиком оригинала.

Возможно, что эти искажения имели место и в тех переводах с русского на французский язык, с которого обычно вплоть до последнего времени и делались переводы на персидский язык многих произведений русской литературы.

Перевод Кахремани «Пиковой дамы», в общем, довольно близок к оригиналу, но и он не свободен от недостатков. Вот несколько примеров: 'девушка' (служанка) переводится как 'девочка' — дохтарбача, очевидно, переводчик не понял значения в данном случае слова 'девушка'; 'камердинер' почему-то переводится как гиссафид 'старуха' 'экономка'; 'каре́та' как дрожже, хотя в персидском языке дрожже значит 'извозчи́чья пролетка', и в то же время имеется более близкое слово коляска, которое и употребил в данном случае другой переводчик этого же произведения — Ансари. Героиню повести Лизавету Ивановну Кахремани называет то Елизабет Ивановной, то Елизабет Павловной. Примером непонимания автором контекста может явиться следующая фраза. У Пушкина: «Многочисленная челядь ее, разжирев и посевев в передней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей». Вся первая часть этой фразы в переводе Кахремани пропущена. Последняя же искажена:

Елизабет Ивановна захматкаш-е хана махсуб мишод, т. е. 'считалась домашней труженицей.

Те недостатки, которые были перечислены выше, в еще большей степени сказались в переводе «Выстрела» Мирза Хосейн-хана Ансари. Особенно это становится ясным при сопоставлении этого перевода с новым переводом, недавно напечатанным профессором Нафиси. На примере последнего можно убедиться в том, что внимательное, любовное отношение к оригиналу, позволяет добиться большой точности при передаче его на чужой язык.

В переводе Мирзы Хосейн-хана Ансари искажения, неточности, совершенно недопустимые добавления, уточнения, расширения основного текста встречаются на каждом шагу. У Пушкина: «и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии». В переводе: бархā ста ба манзил рафтим ва мунтазир-е дуел-е джадид шодим «разбрелись по квартирам в ожидании новой дуэли». Последнюю часть, как мы видим, переводчик искажил, прибавив от себя разговор о дуэли, а не о вакансии. Кстати, и в позднейшем переводе это место оказалось неправильно переведенным, так как Нафиси понял слово «ваканция» как «вакация»: ва дар земне сохбат аз татил-е ке хаман назди-ки-хā буд ба манзел-е ход баргаштим.

Примером бесцеремонного обращения с оригиналом может явиться следующий перевод: у Пушкина: «неужели Сильвио не будет драться?» В переводе это получилось так: «неужели, наш герой не думает отомстить своему врагу»? (Магар пахлаван-е мā хейāl надāрад хариф-е ход энтекām бегнрад). Вряд ли нужно комментировать такие неуместные добавления как «наш герой», «враг», «отомстить».

У Пушкина: «он шел пешком с мундиром на сабле». Мирза Хосейн-хан Ансари опять-таки, очевидно, не поняв этой фразы, совершенно ее искажил, тем самым исказив и образ героя: «я издала увидел соперника (ракиб), который подходил в полной форме» (бā лебās-е тамām расми... дар āмадан буд). Эта же фраза у Нафиси несколько расширенная, что может быть и не вызвано необходимостью, передана гораздо точнее: пиāда бā йак тан перāхан миāмад ва лебās-е низāми-аш-рā дар руи шамшир андāхта буд — «он подходил пешком в одной рубашке и его форменная одежда была брошена на саблю». Приведенные примеры выбраны как наиболее характерные.

Несмотря на то благотворное влияние, которое оказывают великие реалисты — Пушкин, Толстой, Горький, Чехов и другие русские писатели на персидскую литературу, до сих пор еще персидская проза не избавилась от всякого рода сложных нагромождений, надуманных метафор, сравнений и т. п. Это также нашло отражение и в переводах Пушкина. Нельзя не привести высказываний Пушкина, относящихся к современной ему русской литературе, которые вполне могут быть применимы и к персидской прозе нашего времени:

«Но что сказать об наших писателях, — пишет Пушкин, — которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами! Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: «сие священное чувство, коего благородный пламень и проч.». Должно бы сказать: рано поутру, а они пишут: «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». Как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее?»¹

Достаточно повторить приведенный выше перевод «неужели Силь-

¹ А. С. Пушкин. Соч., ГИХЛ, Л., 1937, стр. 684

вио не будет драться?» как «неужели наш герой не думает отомстить своему врагу?», чтобы увидеть в персидской прозе те же недостатки, против которых восставал Пушкин.

«Точность и краткость, — говорит в той же статье Пушкин, — достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не ведут».¹

Перевод «Капитанской дочки», осуществленный талантливым поэтом-новатором и литератором Хонлари, редактировавшем в годы второй мировой войны литературный журнал демократического направления «Сохай, отличается значительной точностью, глубоким и вдумчивым отношением к оригиналу, хорошим литературным языком. Хотя здесь иногда встречаются пропуски отдельных трудных для переводчика мест и некоторые неточности, но в целом перевод очень верно передает дух замечательной пушкинской повести. Вот несколько примеров.

Пушкин: «Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признаки жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели...»

Перевод: Сурчи дар атраф-е каласка рах мирафт ва зин ва барак-е асб-ха-ра дорост микард. Савелич зир-е лаб мигурид ва ман ба омид-е ин-ке асар-е аз инсан й а нишан-е аз рах бийаварам бяхуда-ба атраф нигах микард. Вале туфан чонан фазай-ра тира карда буд ке хеч чиз дида намишод.

«Ямщик ходил кругом коляски и поправлял седло и сбрую лошадей (пропущено 'от нечего делать', добавлено 'седло'), Савельич ворчал, а я напрасно смотрел во все стороны, надеясь увидеть след человека (а не 'жила') или дороги, но буря (туфан) так все затемнила, что ничего не было видно».

Пушкин: «Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мой бок. Я опустил цыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды».

Перевод: Асб-ха ба васита-е анбух-е барф ба арами тамам харакат микарданд. Драйке ахиста пиш мирафт ва аз ру-е туда-ха-е барф ва пастбаланди-ха убур микард. Дар хин-е харакат низ гах-е ба раст ва заман-е ба чап мотамайл мишод ва ба заврак-е шабих буд ке аз миан-е дарий а-е туфан-е убур конад. Савелич дар хар даф'а-е ке такан-е драйке у-ра ба тараф-е ман миандахт нала-е аз дел бармиавурд. Ман гисуване баланд-е ход-ра фору рихта, постин-ра ба ход почидам, хавай-е туфан ва джанбиш-е арам-е драйке касалат-е дар ман тавлид кард ва нагах хабам даррабод.

«Лошади ступали совершенно спокойно из-за обилия снега. Дрожки ехали медленно, пересекая то сугробы снега, то возвышенности или низины. Во время движения они клонились то направо, то налево и было это похоже на лодку, плывущую по бурному морю. Савельич стонал всякий раз, как из-за толчка дрожек его бросало в мою сторону». Далее совершенно неверно: «Я опустил вниз свои длинные волосы (Локонь? Косы? — гисуване ход)». «Я закутался в шубу. Буря и спокойное покачивание дрожек вызвали во мне недомогание, и я неожиданно уснул».

Пушкин: «Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева,

¹ А. С. Пушкин. Соч., ГИХЛ, Л., 1937,

готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Небось, небось» — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг я услышал крик: «Постойте, окаянные! погодите..» Палачи остановились. Гляжу, Савельич, лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной!» — говорил бедный дядька. — «Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради, вели повесить хоть меня старика!». Пугачев дал знак и меня тотчас развязали и оставили».

Перевод: Дигар ноубат-е ман буд. Ман ба шоджаат ба Пугачев нигариста хондра барайе такрар-е хамин джаваб-е руфакка-е шоджа-е ход хазир кардам. Дар ин мийан ба нихайат тааджоб Швабрин-ра ке гесу-е ход-ра борида ва хафтан ба расм-е казакан пушида буд дидам ки аз мийан-е бозорг-ан-е шуриши-йан бирун амада ба Пугачев наздик шод ва дар гош-аш чиз-е гофт. Пугачев пас аз шонидан-е соханан-е у бидун-е ан-ке ба ман нигах конанд фарйад кард: „Ин йак-ера хам ба дар бизанед! Казакан танаб-е ба гардан-е ман бастанд ва ман дуа-ха-е ханда аз гонях-ан-е ход тоуба кардам ва наджат-е касан-е-ра ке дост мидаштам аз даргах-е алахи ба доа хастам. Казак-ха мара ба па-йе дар кашиданд. Миргазаб-ха месл-е ин-ке вакиан михастанд мара ташджи, конанд ба такрар мигофтанд „натарс, натарс“: Нигах фарйад ба гошам расид ке мигофт: „сабр конид, датс нигах дарид!“ Миргазаб-ха тоукиф карданд ва ман сар-ра буланд намуда Савельич-ра дидам ке ба па-йе Пугачев уфтада мигофт: „Арбаб, коштан-е бача-е валинемат-е ман барое то че фоида дарад? У-ра азай кон, фадийа-йе бозорг-е ба то хоханд дад. Агар михахи дигар-ан-ра ба ин васила бетарсонии мара ба джа-йе у ба дар безан. Пугачев ишара кард танаб-ра аз гардан-е ман бардаштанд.

«Очередь была за мной. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ смелых моих товарищей. Тогда к неопisanному моему удивлению я увидел Швабрина, который остриг свою косу и в казацком кафтане вышел из (группы) мятежных старшин, приблизился к Пугачеву и что-то сказал ему на ухо. Пугачев, услышал его слова, не глядя на меня, закричал: «этого тоже повесьте!» Казаки завязали мне на шею веревку, я стал читать молитву, каюсь в своих прегрешениях и прося бога о спасении всех, кого я любил. Казаки притащили меня под виселицу. Палачи, как будто на самом деле, желая меня ободрить, повторяли: «не бойсь, не бойсь». Внезапно я услышал крик: «Погодите, оставнитесь (пропущено 'окаянные')». Палачи меня оставили и я, подняв голову, увидел Савельича, который, упав к ногам Пугачева, говорил: „Господин (вместо 'отец родной'), что тебе за польза от убийства сына моего благодетеля (вместо 'барского дитяти') (пропущено: 'говорил бедный дядька'), отпусти его, тебе дадут большой выкуп. Если хочешь таким образом других напугать, повесь меня вместо него“. Пугачев дал знак и веревку сняли с моей шеи.»

В 1937 г. в Советском Союзе и во всем мире отмечался столетний юбилей великого национального русского поэта. Несмотря на господство реакции в Иране, правительство Реза-шаха не могло остаться в стороне от этого события.

9 января 1937 г. иранская газета «Эттелаат» писала: «Мы весьма рады участвовать в юбилее этого великого писателя и литератора и разделить радость соседней дружественной страны. Своим участием мы получаем возможность еще раз выразить наши дружеские чувства к СССР».¹

Иранская общественность откликнулась на этот юбилей, собранием, посвященным памяти Пушкина, на котором был зачитан доклад о жизни и творчестве поэта и оркестр исполнял русские музыкальные произведения.

Как писал недавно проф. Сеид Нафиси, несмотря на то, что правительство Реза-шаха было намерено дать положительный ответ на приглашение Советского правительства принять участие в праздновании юбилея Пушкина, тем не менее, лица, участвовавшие в организации собрания, оказались в таком положении, что лучше об этом и не вспоминать (аз а́н йа́д накардан бихтар).²

В тегеранском литературном журнале «Михр» № 8 был напечатан тогда (1937) перевод повести А. С. Пушкина: «Метель» и в № 9 «Станционный смотритель». В юбилейном восьмом номере этого журнала на обложке был помещен портрет Пушкина, а две других иллюстрации — Пушкин-лицеист, гравюра Е. Гейтмана и картина Айвазовского «Прощай, свободная стихия» в середине журнала. В этом же номере напечатана большая статья Сеида Нафиси «Сто лет со дня смерти Пушкина», посвященная жизни и творчеству великого поэта.

В юбилейный 1937 год впервые на персидский язык стали переводить лирику Пушкина. Несмотря на то, что к этому времени на персидский язык был переведен целый ряд прозаических произведений иностранной литературы, поэтический жанр в переводной литературе почти не был представлен, кроме некоторых опытов, не имевших особенно большого распространения. Причина этого заключалась в особенностях персидской метрики, в традиционности поэтических форм, искусственно поддерживаемой ревнителями так называемой классической литературы.

Приведу интересные наблюдения Ю. Н. Марра: «Когда в Исфагане, упражняясь в переводах с русского, я пытался ознакомить местных литераторов с некоторыми вещами Пушкина, я был удивлен их непониманием. Не столько основная мысль затрудняла слушателей, сколько способ ее выражения. Незнакомство с эллинским миром делало непонятным строку: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». Персидские условия не позволяли не только перевести, но даже понять слова: «поэт бежит... в широкошумные дубравы на берега пустынных вод». Никто из исфаганских поэтов не мог понять, что значит выражение «берега пустынных вод», так как в Центральной Персии воды нет, ее добывают невероятной затратой труда. Поэтому, где вода, — там жизнь, животные, люди, которые ее берут или стерегут, чтобы ее не украли. А в горах, где текут естественные ручейки, по берегам их проходит дорога. «Широкошумные дубравы» понимались всеми, кого я ни спрашивал, как несколько растущих вместе деревьев, не принадлежащих какому-либо собственнику и потому неогороженных. Там гуляет много народу, наслаждаясь тенью, и поэтому слышен крик и шум. Выражение «...Он сердце вынул и уголь пылающий водвинул»

¹ «Правда», 1937 от 10 января.

² Сеид Нафиси, Равабт-е фарханги-е Иран ба шоурави, «Пеяме ноу» 1327, № 11, стр. 17.



Рис 1
Персидский литературный журнал „МИХР“ (Тегеран) № 8, 1937,
посвященный столетнему юбилею А С Пушкина (обложка)

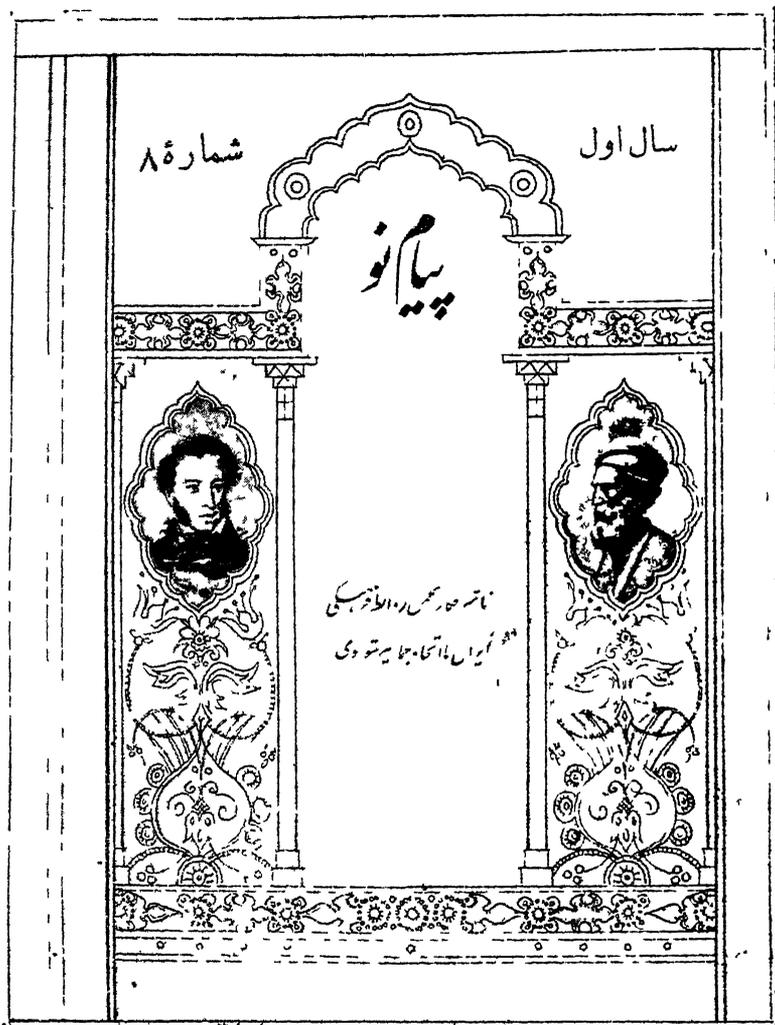


Рис 2

Журнал „Пейме ноу“, издаваемый иранским обществом культурной связи с СССР, на обложке первого года издания журнала помещались портреты А. С. Пушкина и Фердоуси (обложка).

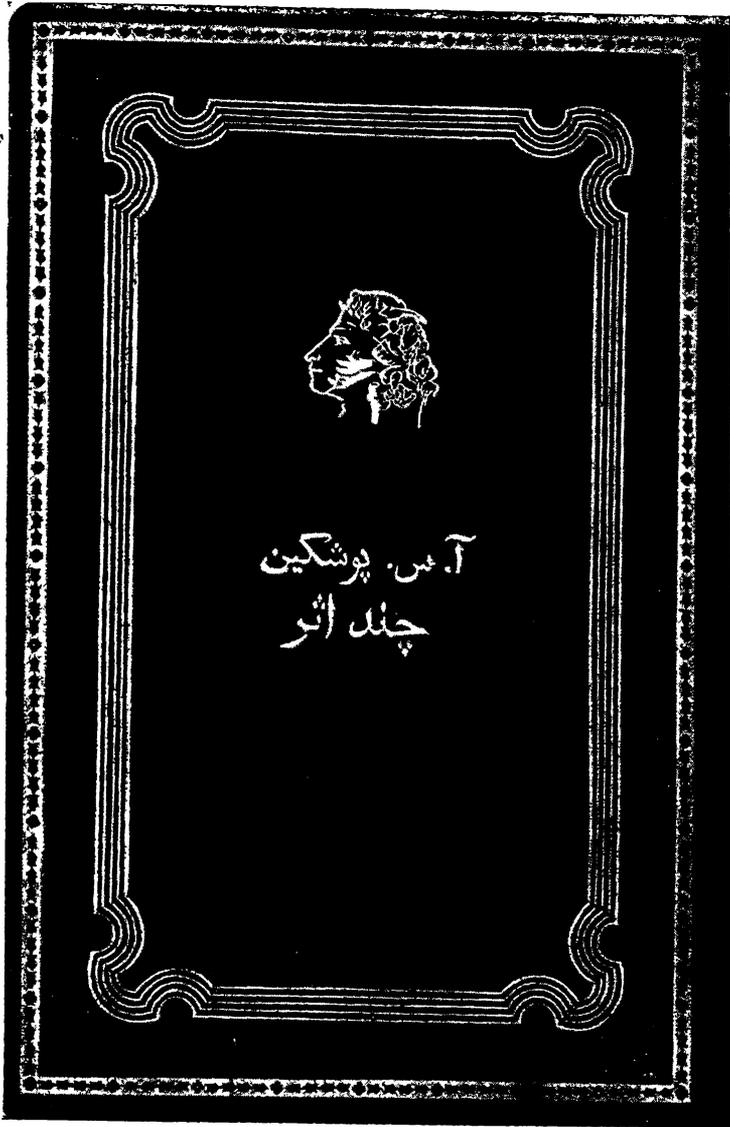


Рис. 3

А. С. Пушкин. „Избранные произведения“. Книга переводов на персидский язык Абульгасеми Лахути, изданная в Москве в 1948 г. (переплет).

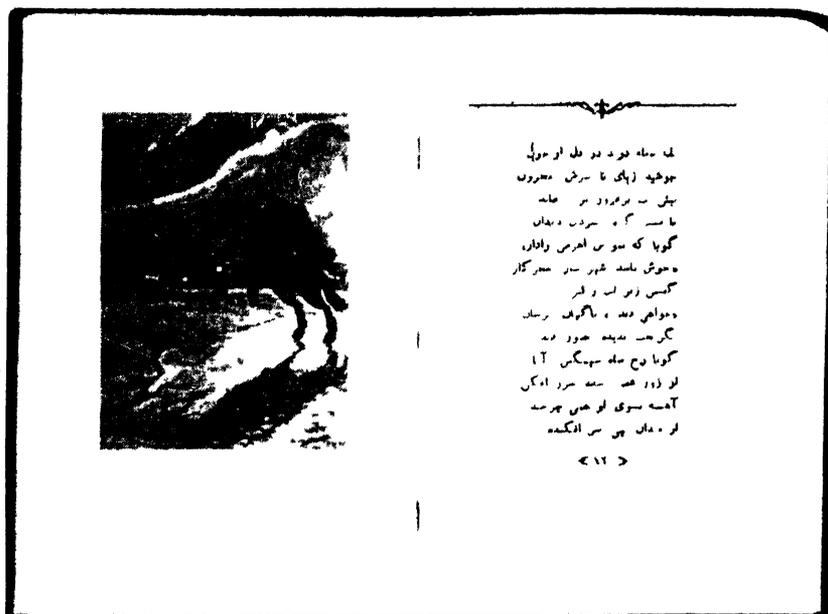


Рис. 4

Страница перевода „Медного всадника“ из книги А С Пушкина
„Избранные произведения“, пер Лалуги, Москва, 1948.

считалось очень слабым, и Пушкина обвиняли в незнакомстве с гиперболой, лучше-де ему было тут сказать: «Я весь с головы до ног был объят пламенем».¹

Это было написано в 1927 г., и с тех пор многое изменилось и в Иране и в персидской литературе. Хотя события социальной и политической жизни страны в поэзии отразились в значительно меньшей степени, чем в прозе, тем не менее, и в поэзии произошел известный перелом.

«Гражданская», политическая, поэзия, сменившая в период иранской революции 1906—1911 гг. классическую тематику и также бывшая в известной мере абстрактной, в настоящее время уступает место реалистической и психологической тематике. Возникает подлинно революционная антиимпериалистическая поэзия. То, что еще только намечается в 20-х и 30-х годах, расширяется к 40-м годам. Как говорил на первом съезде иранских писателей Хонлари, старые поэты не могли писать о своих личных индивидуальных чувствах. Они не писали о том, что наблюдали непосредственно. Поэты нового направления именно стараются отказаться от отвлеченных рассуждений. В стихах начинает проявляться индивидуализм поэта, его личные переживания, находит отражение природа не в виде отвлеченного символа — куста розы, бутона и все того же соловья, ветерка, зефира и прочих аксессуаров персидской поэзии, а конкретный живой многокрасочный реальный мир, окружающий поэта. Классическое указание В. И. Ленина находит свое подтверждение в персидской литературе: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую».²

В 1946 г., на съезде иранских писателей в выступлениях прогрессивных писателей и литераторов, — осужденного недавно заочно к смертной казни одного из лидеров Народной партии Табари, крупнейшего иранского прогрессивного артиста Нушина, поэта Хонлари, — отразились требования, предъявляемые новой поэзией.

«Старый поэт, — говорил Хонлари, — не мог вкладывать в стихи свои мысли и чувства. Некоторые пытались писать новым размером, другие писали о новых проявлениях техники, но никто из них не достиг цели. Не в том дело, чтобы найти новую форму или стиль, нужно изменить сознание, и это должно найти отражение в содержании, для которого следует найти новую форму. Если жизнь вносит изменения в поэзию, это значит, что произошли изменения в методе мышления людей. Путешествующий на самолете видит иное, чем видел путешествовавший на верблюде поэт древности, и это должно отразиться в поэзии».

«Персидская поэзия, — говорил Табари, — застыла на одной точке. Изменение темы любви в тему любви к родине или переделка загадки о каламе(пере) в загадку о самолете, еще не есть возрождение поэзии. Поэт должен преодолеть старую манеру, старый синтаксис стиха, но разумно выбирая средства. Он должен приблизиться к природе, к жизни и черпать в этом вдохновение.

1 Ю. Н. Марр. Традиционное и заимствованное или современное и актуальное. Рукопись. Знакомству с этой работой покойного советского ираниста я обязана любезности С. М. Марр, за что и приношу ей свою искреннюю благодарность.

2 В. И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу, изд. 4-е, т. XX, стр. 8.

И в стихах поэт должен не описывать самолет или поезд, а то, что он видит из окна вагона».

Нушин возражал против того, что буржуазная революция 1906—1911 гг. внесла какие-либо коренные изменения в жизнь иранского народа. Революция не смела феодальных пережитков. Даже сейчас многие поэты пишут касиды в сто бейтов и подражают старым мастерам. Нушин рассказал анекдот о мастере, бросавшем иголки, попадая одной в ушко другой, и эмире, наградившем мастера палочными ударами за то, что тот не использует свое мастерство на благо человечества. Многие современные поэты походят на этого мастера. Нушин говорил о том, что поэтов надо делить на тех, кто хочет услужить господствующим классам, и тех, кто служит трудящимся.

Тот перелом, который наметился в персидской поэзии в 20-х и 30-х годах, подготовил почву и для переводов поэтического творчества Пушкина. Можно сказать, что до самого последнего времени персидская литература не имела точных переводов иностранной художественной литературы. В особенности, это относится к поэзии. Поэтические произведения иностранной литературы передавались в прозаических переказах, либо переделывались в соответствии с образцами персидской поэзии.

Первые стихотворные переводы лирики Пушкина принадлежат крупному персидскому поэту Вахиду Дастгерди (умершему в декабре 1943 г.), редактировавшему в течение 20 лет литературный журнал «Армаган». В этом журнале в январе — феврале 1937 г. (№ 10, дей 1315 г.) и были опубликованы выполненные им переводы трех стихотворений Пушкина: «Цветок» (Гол), «От меня вечер Леила равнодушно уходила» (Ийр Лейли веш) и отрывок из стихотворения «Вновь я посетил тот уголок земли»... , начинающийся словами: «Здравствуй племя младое, незнакомое». Все эти переводы впоследствии были перепечатаны в других изданиях. К последнему стихотворению, озглавленному „Салām ба насл-е неждād-е ноу“, Вахид от себя добавил целое стихотворение, в котором он обращается к Пушкину со словами:

Пушкин, ей сохансара-е джахан,
 Нагма-ат бихтарин нава-е джахан.
 Ей михин шаер-е соханвар-е рус!
 Вай ба ту сарбуланд кешвар-е рус,
 Рус танха на сарбуланд ба туст,
 Ке джахан джомла арджоманд ба туст.
 Ту намурдасти, ей джахан-е сохан,
 Дар джанан зеда-е ба джан-е сохан.
 Ей сохан афарин-е дастансаз,
 Хонар афруз-о дастан пардаз,
 Вай ба сад сал пиш ба паигам
 Ханда бар насл-е ноу доруд-о салам.
 Нек ба пасох-е тамам-е ахл-е джахан
 Аз кухан насл та, нежад-е джаван,
 Чун сохангостаран-е Эран-и,
 Ке вахид-анд дар соханрани,
 Ба нава-ха-е руд ва нагма-е раст,
 Хама-ра ин суруд аз де-е хаст:
 Ке з ма бад та бе байад о буд
 Бар ту, ей Пушкин, салам о доруд.

Перевод:

О Пушкин, певец мира,
 Песни твои лучшие в мире.
 О, великий русский поэт!
 Увы, гордая страна русская,
 Не только Россия гордится тобой,
 Весь мир приобретает цену благодаря тебе.
 О творец прекрасных слов, создатель преданий,
 О усиливающий добродетели,
 О ты, который сто лет назад в послании
 Обратился с приветом к новому племени.
 И вот в ответ весь мир,
 От старого племени до младого,
 Как и персидские поэты,
 Которые единственны в создании стихов,
 В музыкальных напевах и правдивых песнях,
 Все поют эту песню из глубины сердца:
 Пусть пока существует (мир)
 Будет тебе, Пушкин, от нас привет.

8 февраля 1937 г. в советском посольстве в Тегеране состоялся концерт, посвященный столетию со дня смерти А. С. Пушкина. На этом концерте Вахид выступил со своими переводами. Вахиду также принадлежит перевод стихотворения «Песнь о вешем Олеге».

Если в первых прозаических переводах Пушкина, как было показано выше, допущены многочисленные неточности и даже искажения, то первые поэтические переводы произведений русского поэта скорее представляют собой вариации на темы пушкинских стихов, чем переводы в собственном значении этого слова. Лаконичный, отточенный, чеканный пушкинский стих как бы кажется иному переводчику недостаточно выразительным, и он вставляет в свои переводы различные украшения и дополнения. Опять-таки нельзя не вспомнить в этой связи упреков Пушкина русской поэзии его времени: «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства мы еще не понимаем. Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стремимся придать напыщенность».¹ Эти строки, написанные 120 лет назад, как нельзя лучше характеризуют современную персидскую поэзию.

Приведем для примера два перевода стихотворения «Цветок». Требованиям точности не удовлетворяет ни перевод Вахида, ни новейший перевод Мансура Мансури («Пеяме ноу», 1948, № 4), хотя последний и пытался сохранить почти то же количество строк (мисра), какое имеется в подлиннике. Погоня за «красивостью», повторение обычных поэтических штампов, переходящих с давних пор по настоящее время в персидской литературе из одного поэтического произведения в другое, оказывают свое влияние и на переводы пушкинских стихов. В результате перевод оказывается бледной искаженной копией оригинала: утрачены легкость стиха, его прозрачность, лаконичность, изящество формы. Третья строфа этого стихотворения, например, каждым переводчиком толкуется по-своему с точки зрения близких ему образов и представлений:

Где цвел? Когда? Какой весной?
 И долго ль цвел? и сорван кем,
 Чужой, знакомой ли рукою?
 И положен сюда зачем?

¹ А. С. Пушкин. «В зрелой словесности приходит время» (1828), Соч., 1937, стр. 694.

Вахид переводит так: «Из какой степи ты и с какой грядки цветника, и какая роса омыла твой лик? В каком саду рос ты на ветке, расцвел какой весной? Была ли жизнь твоя долгой ранней весной или не прийдя в мир ты вернулся? Кто положил тебя в эту книгу? Что же открыло потом эту темницу? Похитила ли тебя чужая рука с твоей ветки или рука знакомого лицо твое приласкала?» У Пушкина нет ни степи, ни цветка, ни росы, ни темницы. Полустих «И долго ль цвел?» переводится — «Была ли жизнь твоя долгой ранней весной или не прийдя в мир вернулся» и т. д. Благодаря этому стихотворение увеличено вдвое.

Также поступает с этим двустишием и Мансури, совершенно произвольно добавляя в свой перевод цветник, сад, степь, гору, и любезного его сердцу, как и сердцу всякого персидского поэта, раненого соловья: ке ин гол-е хошк куджā руида, бāг йā сахра, йā кух, йā камар? дар че сāl-е зада ба джавр-о джафā калб-е булбул-рā аз гам нештар. «Где рос этот засохший цветок в саду или в степи, или на горе, или на склоне горы, в каком году он вонзил ланцет (шипы) в сердце опечаленного соловья?»

Подобным образом переведена и последняя часть стихотворения Пушкина:

И жив ли тот, и та жива ль?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

Вахид импровизирует: «живы ли у себя в городе те два друга или ушли из города и страны (āвара шоданд аз шахро дийār), свежи и цветущи они в саду мира или подобно тебе исчезли бесследно?» А Мансури добавляет от себя еще и «преходящий мир», ибо в представлении персидского поэта мир всегда преходящ и недолговечен (зенда аст инак, йā хамчун гол аз джāхан-е гозарāн карда гозар).

И все же, несмотря на все эти недостатки, творчество гениального русского поэта находит отклик в сердцах иранских поэтов; вслед за первыми переводами появляются новые и новые.

В юбилейные дни 1937 г. группа молодых иранских актеров «Дария беги» дала спектакль «Моцарт и Сальери».¹

В этот же период был выпущен сборник переводов Пушкина — „Намуна-е аз āсар-е Пушкин“, ба йадгār-е садумин сāl-е вафāt-е шāир, Техран, бахман 1315 г. (январь 1938). Типография Барухим. В предисловии к этому сборнику, изданном Министерством просвещения Ирана, говорится: «В связи со столетием со дня смерти замечательного и тонкого русского поэта (сар āйанда-е сохансандж ва нависанда-е дакик-е хонарвар-е рус) Александра Сергеевича Пушкина состоялось собрание, посвященное его памяти, чем была выражена признательность нашему уважаемому соседу. Министерство просвещения выпускает этот небольшой сборник, чтобы выразить то уважение, которое питают иранское правительство и народ к знаменитому (шахир) поэту, этим самым ознакомить говорящих по-персидски с творчеством великого поэта и еще больше укрепить научные и литературные связи между двумя народами».

В начале сборника помещена статья проф. Сеида Нафиси «Жизнь Пушкина» (Зендагāни-е Пушкин) с портретом поэта. В сборник вошли переводы повестей: «Метель» (Кулак), перевод Хамзы Сардадвера (Талибзаде), ранее напечатанный в журнале «Михр», «Барышня-крестьянка» (Дохтар—дехкан), в переводе Исмаила Фередпака, «Станционный

¹ «Комсомольская Правда», 1937, 10 февраля.

«смотритель» (Назир-е истāх) — в переводе Талибаде (Перевод той же повести, сделанный Сеидом Нафиси «Наибе чапархана» был напечатан ранее в журнале «Михр».) В небольших предисловиях, предпосланных каждому произведению, подчеркивается большая художественная ценность прозы Пушкина, его «простой язык» (забāн-е сада), мастерское реалистическое изображение обыденной жизни, которое от начала до конца захватывает внимание читателя.

Прозаические переводы указанного сборника, в общем, отличаются довольно большой близостью к оригиналу. Можно думать, что они сделаны непосредственно с русского языка. Кроме указанных переводов, в сборнике помещен прозаический пересказ «Бахчисарайского фонтана» (Чашма-е Бāтчасарāй), а также три стихотворения: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (Бинā-е йāдгār), перевод крупнейшего современного поэта Малек ош-шоара Бехара, упоминавшийся выше, «Цветок» (Гол) и «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (Соукнāме) в переводе поэта Хабиба Ягмаи, потомка известного поэта XIX столетия — Ягма. Хабиб Ягмаи — литературовед, бывший редактор официального журнала Министерства просвещения Ирана. В своей оригинальной поэзии он выступает как новатор, пытаясь обновить традиционные формы. Этот перевод также осуществлен им в новом для персидской поэзии стиле, с перекрестной рифмой. Это один из лучших переводов лирики Пушкина на персидский язык.

Ба гардишгāх-е порашуб ва гавгā
Мийāн-е дустан-е фāрег аз гам
Ба хар халат че инджа, че анджа
Нейāм фāрег аз ин андеша йакдам.

Впоследствии Ягмаи перевел два других лирических стихотворения Пушкина: «Труд» и «Прозаик и поэт», а также ряд басен Крылова.

Что касается стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», то в настоящее время имеются еще два перевода. Один из них принадлежит поэту Хонлари,¹ переводчику «Капитанской дочки»; другой перевод сделан Абулкасемом Лахути.²

Этот шедевр пушкинской и мировой поэзии каждый переводчик воспроизводит по-своему, но лишь поэту-революционеру Лахути удалось передать весь глубокий идейный смысл стихотворения. Покажем это на примере первого стиха:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа —

Бехар передает ее так:

В великом мире я воздвиг для себя памятник,
Основа прочного здания построена без помощи рук.
Сор злой судьбы
Не сможет закрыть путь к нему.

(Хār-о хас-е рузгār-е нāsāз сад кардан-... , их-е у найāрад). Эту же строфу Хонлари передал словами:

Я построил для себя такой дворец,
(при постройке) которого рук не изранены,
Когда кто-нибудь придет посмотреть на этот дворец,
Ему не придется пробивать путь сквозь сор.

1 «Пеяме ноу», 1945, № 1.

2 Там же, № 6.

(Чу аїад ба дидār-е аи бакиа кас найāбад ба рāх рандж-е аз хār-о хас). Лахути, не допустив ни сокращения, ни увеличения текста, передал строку за строкой

Я создал для себя дворец, который не построить руками,
Никогда не покроет трава путь народа к тому памятнику

(алаф харгиз налушад рāх-е мардом-рā ба аи махзар).

Также сохранено значение и пафос последующих строф, бережно переданных средствами персидского языка. Лахути, следуя Пушкину, выделяет последнюю строку каждого стиха, стараясь быть максимально точным.

В конце 30-х годов в Иране наступает реакция. Деятели демократического движения находятся в тюрьмах и ссылках, малейшее проявление свободолюбия карается жестокими пытками и смертью. В этих условиях не могло быть и речи об опубликовании переводов с русского языка; подобные действия рассматривались как угроза диктаторскому режиму Реза-шаха, и при обнаружении любой русской книги виновный подвергался тюремному заключению. Тем не менее, русские книги, в том числе и Пушкин, читались в Иране и даже проникали различными способами в тюрьмы, где доставляли радость находившимся там узникам.

С развитием в Иране демократического движения в период второй мировой войны на персидский язык в большом количестве начинают переводиться произведения русской и советской литературы. Эта литература сыграла исключительную роль в развитии демократических, прогрессивных идей в среде иранской интеллигенции, иранской молодежи. На творчестве Пушкина, Горького, Н. Островского воспитывались активные борцы за независимость и свободу Ирана. У героев русской и советской литературы иранские демократические деятели учились и учатся высокому патриотизму, мужеству, настойчивости, гуманизму, оптимистической вере в дело народа, в победу пролетариата во всем мире.

В январе 1944 г. в Тегеране состоялось первое заседание иранского общества культурной связи с СССР. Естественно, что это заседание было посвящено А. С. Пушкину. Кроме доклада о его жизни и творчестве, было прочитано стихотворение «Эхо» (Инъ-екās-е саут) в переводе проф. Баде аз-Замана Форузанфара и небольшое стихотворение «Труд» (Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний) — «Пāйāн-е кār», в переводе Хабиба Ягмаи. Оба эти стихотворения были напечатаны в журнале «Пеяме ноу» (1945, № 4). В этом же журнале печатались и другие переводы произведений Пушкина: «Гробовщик», (Табутсāз) перевод д-ра Файāза (1946, № 12), новый перевод «Пиковой дамы», осуществленный Каземом Ансари (1948, № 5).

Выше уже говорилось о том, что этот перевод значительно лучше перевода Солтана Шарефтдина Кахремани, но, к сожалению, и он не свободен от недостатков; например, графиня просит подать ей табакерку, с нюхательным табаком, а переводчик от ее имени требует коробку папирос (кути-е сигār), что уже совсем выглядит по-современному; «девичью» он понимает едва ли не как прядильную мастерскую — отак-е нахриси; «Лизавета Ивановна, — пишет Пушкин — вошла в капоте и шляпке» — в переводе же говорится, что Лизавета Ивановна вошла в кулахе и шинели. Переводчик решил передать слово 'капот' (верхний дамский плащ, накидка) как шинель, заимствовав это значение из французского языка. Нелепость такого перевода очевидна. В персидском языке существует ряд терминов для обозначения верхнего платья, а в крайнем случае переводчик мог передать это слово описательно. Мы выбрали лишь наиболее характерные примеры.

В июле 1943 г. в антифашистском органе «Ажир», — редактором которого в то время был Джафар Пишевари, впоследствии один из лидеров демократического движения в Иранском Азербайджане, — была напечатана повесть Пушкина «Дубровский». Вскоре этот перевод, исполненный Керимом Кешаверзом, перу которого принадлежит значительная часть переводов с русского на персидский язык, был выпущен отдельным изданием. Нельзя сказать, чтобы в персидских переводах был сохранен ритм пушкинской прозы, ее легкость, прозрачность. Иногда они неумеренно перегружаются в диалогах, как например в переводе «Пиковой дамы» Кахремани, такими оборотами как «Томский сказал», «Нарумов сказал», «Герман сказал (Томский гофт, Нарумов гофт), чего сумел избежать Ансари, другой переводчик этого произведения. Вместе с тем реалистическая проза Пушкина оказывает исключительно благотворное влияние на современный персидский литературный язык. Благодаря этому язык переводов хотя и не свободен от указанных выше недостатков, тем не менее довольно прост и надуманные цветистые украшения сравнительно не так уж часты, особенно в последних переводах. Это в равной мере относится и к новейшей персидской прозе, лучшие представители которой в своих реалистических произведениях резко критикуют современное положение страны.

Кроме перечисленных выше переводов поэзии Пушкина, в журнале «Пеяме Ноу» были напечатаны: «Прозаик и поэт» (Насрнавес ва шаёр) перевод Хабиба Ягмаи (1947, № 10), и «Талисман» (Телесм) перевод Али Асгер Хекмата с подстрочника Керима Кешаверза (1946, № 2). В 1325 (1947) в Тегеране вышел сборник переводов Пушкина (объем 280 страниц) «Пушкин».

На персидский язык до самого последнего времени переводились преимущественно короткие лирические стихи Пушкина: «Цветок», «Труд», «Эхо», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», отрывок «Здравствуй пламя, младое незнакомое», «От меня вечер Леила равнодушно уходила» и три стихотворения несколько больших по объему: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Песнь о вещем Олеге» и «Талисман». В то же время, как говорилось выше, на персидский язык переведена большая часть прозы Пушкина, причем некоторые повести и рассказы переводились и издавались по нескольку раз. По два раза: «Пиковая дама», «Дубровский», «Выстрел», по три раза: «Метель», «Станционный смотритель». Это лишний раз свидетельствует о том, что в современной персидской литературе ведущим является прозаический жанр и что персидская художественная проза за короткий срок прошла значительный путь развития. Прогрессивные тенденции в персидской поэзии выразились в появлении нового содержания, насыщенного социальными мотивами и конкретными гражданскими мотивами и в попытках обновления формы, в общем остающейся неизменной.

Интересно проследить динамику движения пушкинских переводов на персидском языке: 1927 г. — один, 1931—1932 — три, 1936—1937 — пять и сборник, куда вошли семь переводов; затем наступает перерыв до 1943 г. В 1943 г. — один, 1944—1945 — семь, в том числе отдельной книгой выпущен «Дубровский»; в 1946—1947 — два и сборник произведений; 1947—1948 — три; 1948—1949 — пять и сборник переводов Лахути, включающий шесть произведений.

Переводы Пушкина на персидский язык, принадлежащие перу талантливому революционному поэту Лахути и изданные в Москве издательством иностранной литературы в 1948 г., «Чанд асар» — «Несколько произведений», представляют собой значительное явление в персидской

поэзии. В сборник, изданный на арабском шрифте и богато иллюстрированный репродукциями с картин известных русских художников — Васнецова, Билибина, Врубеля и Бенуа, включены образцы, отражающие различные стороны пушкинского гения — лирические стихи: «В прохладе сладостной фонтанов» (Дар хавā-е делкаш-е фаварā-хā), «Песнь о вешем Олеге» (Дастāн-е Олег-е делагāх), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (Кāх-е Йādгār); поэмы — «Медный всадник» (Мисинсавār), «Моцарт и Сальери» (Мāсарто Салиери), а также «Сказка о рыбаке и рыбке».

Большая часть этих переводов была прочитана Лахути в Ленинграде в марте 1947 г. на научных сессиях в Институте Востоковедения Академии Наук СССР и в Ленинградском государственном ордена Ленина университете им. А. А. Жданова. Особенный успех имел у слушателей перевод «Сказки о рыбаке и рыбке», переданный ритмической прозой, по ритму, стилю и содержанию очень близко к оригиналу. Чтобы дать представление об этом переводе, приведем несколько отрывков.

Пушкин:

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод,
Пришел невод с одною тиною,
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод,
Пришел невод с одною рыбкой.
С непростюю рыбкой золотою.

Перевод Лахути:

Еки буд ва еки на буд.
Дар сахел-е бахр-е кабуд
Йак пирамард буд бā пиразанаш.
Анхā тамаман си сал-о се
Дар колбе-йе хак-е ба сар борданд.
Пиразан ба дук-аш рисман мирисид,
Пирамард ба тураш махи магрифт.
У йак руз тураш-рā бā дб андāлт,
Тур-аш ба ладжн бала амад.
У добаре тур-е ход-ра андахт,
Тур-аш ба алаф бала амад.
У се бар-е тур-е ходра андахт,
Тур-аш ба махи бала амад.
Махи сада на, заррина.

Как можно убедиться, перевод идентичен оригиналу, точность почти достигнута. Не совсем верно в этом отрывке передано по-персидски «они жили в ветхой землянке», здесь Лахути слово «ветхой» опустил, передав лишь слово «землянка» как «земляная хижина». Также пропущено определение «морскою» к существительному «трава». Но это незначительные погрешности.

Пушкин:

Старичок отправился к морю
(Почернело сине море),
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:

«Чего тебе надобно, старче?»
 Ей с поклоном старик отвечает.
 «Смилуйся, государыня рыбка!
 Опять моя старуха бунтует:
 Уж не хочет быть она дворянкой,
 Хочет быть вольною царицей».
 Отвечает золотая рыбка:
 «Не печалься, ступай себе с богом!
 Добро! будет старуха царицей!»

Перевод Лахути:

Пирак ба сун дарйа рах уфтад.
 Дарйа-е кабуд сийах шода буд,
 Зарринмахи-ра буланд сада кард,
 Махи шинавар амад порсид:
 «Че хаджат-е дари, йа пира?»
 Пирмард ба таазим пасох-аш дад:
 «Ба ман рахм кон, эй маликамахи!
 Баз хам исан миконад пиразанам:
 Дигар намихахад эйан башад,
 Михахад башад мохтар малика»
 Ба вай пасох дад зарринмахи:
 «Гам на хор; беров хода йарат!
 Башад! Малика хахад шод пиразан.»

Следует признать, что переводчик очень удачно решил вопрос о передаче многих оттенков оригинала. Эти два небольших отрывка достаточно ярко отражают весь перевод в целом. Лахути очень верно передал на персидский язык сказочно-песенный характер этого произведения, сумев, не отрываясь от оригинала, приблизить свой перевод к персидскому фольклорному стилю, используя такие слова, как пирак (старик), маликамахи (рыба-царица), хотя йарат башад (господь твой покровитель), традиционное в персидской сказке еки буд ва еки набуд (было и не было) и ряд других приемов.¹

В предисловии к сборнику своих переводов Лахути пишет: «Нет ничего удивительного в том, что из числа значительных коротких стихотворений Пушкина внимание переводчика на персидский язык привлекло к себе стихотворение «В прохладе сладостной фонтанов». Имена многих великих персидских поэтов неоднократно упоминаются в произведениях Пушкина, но этот красноречивый отрывок, который непосредственно отражает искренние чувства великого русского поэта по отношению к «прозорливому (басир ва ноктедан) и крылатому (балдар), поэту—Саади и к его «избранной» стране (кешвар-е баргозида) (у Пушкина «Поэт той чудной стороны») имеет особое право на внимание народов Саади (хак-е махсус-е ба таваджях-е меллат-е Саади дарад)».

По поводу происхождения этого стихотворения существует несколько мнений. Высказывание Лахути вводит в научный обиход еще одну точку зрения.

В 1938 г. один из литературоведов писал о том, что Пушкин в последнем стихе —

Но ни один волшебник милый,
 Владелец умственных даров,

¹ Интересно, что однажды в Тегеране я записала «Сказку о рыбаке и рыбке» от молоденькой девушки из Решта, где она кончила пять классов школы. Этот факт позволяет предполагать, что в южном Азербайджане, культурные и экономические связи которого с Советским Союзом гораздо более тесные, чем других областей Ирана, хорошо известны произведения русской литературы.

Не вымышлял с такою силой
 Так хитро сказок и стихов,—
 Как прозорливый и крылатый
 Поэт той чудной стороны,
 Где мужи грозны и косматы,
 А девы гуриям равны —

под поэтом имел в виду Руставели.¹ Эту точку зрения оспаривал Д. Д. Благой, который вслед за Н. В. Измайловым привел ряд доводов в пользу того, что Пушкин имел в виду Мицкевича.²

Стихотворение «В прохладе сладостной фонтанов» было открыто и расшифровано П. Е. Щеголевым в 1911 г. и лишь с 1920 г. начало входить в собрания сочинений Пушкина. Пушкинским оно подвергалось многочисленным изменениям и поправкам, вследствие чего подлинник, опубликованный П. Е. Щеголевым, крайне затруднен для прочтения.³

При споре о поэте, упоминаемом в этом стихотворении, как наиболее существенный довод приводится заключительная строфа: «Где мужи грозны и косматы, а девы гуриям равны», при этом Азадовский приводит примеры из других стихов Пушкина, в которых упоминается о кавказских горцах в мохнатых (косматых) шапках. Благой же указывает, что подобные шапки носили и в Литве, а Мицкевич был выходцем именно из Литвы. Позволим себе высказать предположение, что в этой строке действительно заключен ключ к разгадке. Напомним, что таврицкий поэт Фазыл-хан носил баранью шапку-папаху, причем Пушкин разъяснил, что папахами называются персидские шапки. Упоминание же в самом стихе имени Саади («любили Крым птенцы Саади»), а в последней строке — гурий, столь часто встречающихся в персидских стихах, подкрепляют предположение, высказанное Лахути в столь категорической форме о том, что последние строчки относятся к Саади. Но имеются и другие, более веские доказательства. Это стихотворение было обнаружено П. Е. Щеголевым среди набросков 1828 г., но и П. Е. Щеголев и В. Брюсов⁴ считают, что оно может быть отнесено к 1829 г., ко времени возвращения Пушкина из Арзрума. К этому имеется достаточно оснований. Известно, что проездом в Петербург Пушкин был в Малининках. Отсюда он написал несколько писем. В письме к Плетневу (?) (октябрь 1829 г.), говоря о названии «Полтавы», он между прочим пишет: «так и Бахчисарайский фонтан первоначально назван был «Гаремом», но меланхолический эпиграф (который бесспорно лучше всей поэмы) соблазнил меня».⁵ Эту же мысль, высказанную еще в 1823 г. в письме к Вяземскому,⁶ он почти дословно повторил и в заметке „Возражения критикам «Полтавы»“ (1831).⁷

Этот эпиграф взят Пушкиным из Саади: «Многие так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече. Саади». Позже он повторил его в последней песне VIII главы «Евгения Онегина». «Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал».⁸

¹ Руставели в стихах Пушкина, «Звезда», 1938, № 5.

² Мицкевич в России, «Красная новь», 1940, № 11—12.

³ П. Е. Щеголев, Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3-е, М., 1931, стр. 320—324.

⁴ А. С. Пушкин, Полн. себр. соч., 1920, т. I, ч. 1, стр. 311.

⁵ Письма, под ред. Б. Л. Модзалевского, 1928, т. II, стр. 65.

⁶ Письма, т. I, 1928, стр. 55.

⁷ А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., 1949, XI, стр. 165.

⁸ В экземпляре «Бустана» Саади (Бомбей, 1291), принадлежавшего известному коллекционеру А. Ф. Онегину (Ин-т литературы АН СССР, 552—18, 39 стр., 299 строка) отмечено стихотворение, послужившее основанием к этому эпиграфу: Шонидам ке Джамшид-е фаррах серешт Бар сар-е чашма-е бар санг-е навшт:

Напомним также стихи, адресованные Фазыл-хану:

«Где кратко царствует весна, но где Гафиза и Саади знакомы имена». ¹ В письме к Вульффу от 16 октября 1829 г. из Милинников Пушкин пишет: «В Малинниках застал я одну Ан. Ник. в флюсом и с Муром». ² Мур английский автор стилизованного в восточном духе романа с четырьмя вставленными в него поэмами «Лалла Рук». Имеется перевод одной из этих поэм Жуковского. «Пери и Ангел». Вот как отзывался о Муре Пушкин: «Кстати еще знаешь, — писал он Вяземскому 6 апреля 1825 г. — почему не люблю я Мура? Потому что он чересчур уж восточен. Он подражает ребячески и уродливо ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. Европейец и в упоении восточной роскоши должен сохранить вкус и взор европейца...» ³ В романе Мура упоминается и Саади и его стихи.

С Саади связано стихотворение Пушкина «Подражание арабскому», в частности, последняя строфа: «Мы с тобой, точь-в-точь орешек под единой скорлупой». ⁴

В «Путешествии Онегина» переплелись крымские и кавказские впечатления Пушкина. Четыре строфы из «Путешествия» «Прекрасны вы берега Тавриды» Пушкин напечатал в первом номере «Литературной газеты» в 1830 г. В этих строфах имеются такие строчки:

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор!
Таков ли был я, расцветая?
Скажи Фонтан Бахчисарая!

Как нам представляется, эти строки красноречиво говорят в пользу датировки интересующего нас стихотворения 1829 годом.

Следовательно, можно предположить, что, если Пушкин писал стихотворение «В прохладе сладостной фонтанов» в 1829 г., то он имел в виду именно Саади. Во-первых, в самом стихотворении говорится о Саади и о гуриях, во-вторых, в октябре 1829 г., т. е. после возвращения из Арзрума в письмах из Малинников содержатся косвенные упоминания о Саади, в-третьих, мы пытались показать что Пушкин знал Саади и действительно его ценил; в его библиотеке было два сборника стихов Саади во французских переводах: «Панднаме» изд. 1828 г. и «Гулистан»

«Бад-ин чашма чун ма бас-е дам заданд Берафтанд чун чашм бархам заданд». — «Я слышал, что Джемшид счастливый над фонтаном на камне написал у этого источника: подобно нам многие отдыхали, исчезли (они) подобно морганию глаза». Эту идентификацию подерживал и К. И. Чайкин, который указывал, что «бе рэфтэнд (букв. «они ушли») соответствует «странствуют далече», а чэшм бэрхэм эздэнд (букв. «мигнули оком») понято было как «смежили глаза» (что вполне закономерно, ибо такое значение в персидском имеется), и отсюда «иных уж нет». «Временник Пушкинской комиссии», т. II, 1936, стр. 468.

¹ Имена Хафиза и Саади в это время действительно были хорошо известны в России как в переводах на русский язык, так и в переводах на иностранные языки (см. Библиографию Востока, вып. 10, 1936). В Петербургском университете персидский язык изучался на произведениях Саади (Гулистан) и других персидских поэтов. В. В. Григорьев, Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования, СПб., 1870.

² Письма, т. II, стр. 66.

³ Письма, т. I, стр. 129.

⁴ Источником этого считают следующий отрывок «Помню в прежнее время я и друг мой жили будто два миндальные ореха в одной скорлупе» («Гюлистан», пер. И. Холмогорова, изд. Солдатенкова, М., 1882, стр. 209), М. Богданович. Две заметки о стихотворениях Пушкина, «Пушкин и его современники», т. VII, Петроград, 1917, вып. 28-й, стр. 108.

изд. 1834 г.¹ Наконец, строка «Любили Крым птенцы Саади»² также говорит в пользу мнения Лахути. Возможно, в Крыму Пушкин слышал стихи Саади или упоминание о нем.

Во всяком случае выбор Лахути стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов» вполне оправдан и лишний раз свидетельствует о том, что в освоении литературного наследия Пушкина он руководствовался не случайными соображениями. Что касается качества перевода, то Лахути постарался максимально приблизить его к оригиналу, переводя строку за строкой, не увеличив и не сократив его, а также рифмуя перекрестной рифмой, как и Пушкин. Близок этот перевод к оригиналу и текстуально. Приведем в качестве примера первый стих:

В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт бывало тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом
Дар хава-е делкаш-е фаввара-ха
Хар тараф девар-ха-ра рашхазан,
Бар дел-е хан шаер аварди сафа
Ба джарангандаз марджан-е сохан.

В предисловии к своим переводам Лахути пишет, что не было ничего более легкого, как передать четыре строки Пушкина на персидский язык четырнадцатью, придав им характер и вид персидского стиха, но этим самым была бы утрачена красота, легкость, лаконичность пушкинского стиха и заменена тяжеловесным, длинным и скучным переводом. Это не достойно ни великого Пушкина, ни богатого персидского языка. Пушкин использовал богатство русского народного творчества, создал новую русскую поэзию, и это обязательно должно быть отражено в переводе. В заключение он выражает надежду на то, что молодые силы персидской литературы с помощью переводов и собственных произведений обогатят свою литературу новыми достижениями.

Лахути постарался выполнить поставленную им перед собой задачу и всеми доступными ему средствами персидской поэзии бережно донести гениальные пушкинские творения до персидского читателя. Поэтические переводы Лахути — ценный вклад в персидскую литературу.

Как известно, Лахути является крупнейшим мастером таджикской литературы. В 1947 г. вышли его переводы Пушкина на таджикский язык. Сборник «Чанд асар» включает те же произведения, которые позднее вошли в его сборник переводов на персидский язык.

Интерес к творчеству гениального русского поэта А. С. Пушкина в Иране не ограничивается лишь переводами его произведений. О его жизни и творчестве напечатаны десятки статей в различных журналах и газетах. Обычно эти статьи посвящены биографии поэта, содержанию его произведений, хотя они и не всегда опираются на достижения советской науки в области пушкиноведения. Некоторые же работы затрагивают более специальные проблемы: «Пушкин и Восток», статья проф.

¹ Б. Л. Модзалевский, Библиотека А. С. Пушкина, СПб., 1910, стр. 291—292, 293; ср. также Письма, т. I, 1928, примеч. на стр. 280.

² В автографе слова «любили» и «птенцы» зачеркнуты и восстанавливаются П. Е. Щеголевым. В Брюсов предлагает чтение: «Недаром Крым любил Саади»; М. А. Цявловский читает: «Крым любил Саади». В академическом издании 1937—1949 гг. [любили] «Крым, сыны Саади».

Фатьмы Саях («Пеяме ноу», 1945, № 12), «Пушкин и Собухи» Талибзаде о касыде Ахундова на смерть Пушкина и другие.

В настоящее время после широкого подъема и развития демократического и революционного движения в период второй мировой войны в Иране и, в особенности, в южном Азербайджане, наступила реакция. Демократические организации разгромлены, демократические органы печати закрыты, среди иранских прогрессивных деятелей, деятелей демократического движения произведены массовые аресты. Особенно сильно свирепствует реакция в южном Азербайджане. Многочисленные аресты, пытки и казни являются ответом господствующей клики на проявленную народом волю жить по-человечески, пользоваться демократическими правами. 27 февраля 1949 г. в нашей прессе сообщалось, что у арестованного в южном Азербайджане 60-летнего художника Бабаяна полицейские изъяли всю литературу, в том числе произведения Пушкина и Горького. В «Правде» (17 октября, 1948) сообщалось, что агенты тайной полиции в Тавризе арестовывают покупателей магазина «Международная книга», ведут наблюдение за библиотекой Дома Культуры ВОКС, угрожают читателям.

Но иранским реакционерам, действующим по указке англо-американских империалистов не остановить колесо истории. Могучая свободолюбивая лира великого русского поэта А. С. Пушкина живет в персидской литературе, как и в литературе различных народов мира:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит,
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Студент Г. Хаупт

ПУШКИН И ВЕНГЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX в.

Историко-литературные заметки

Широкая популярность русской классической литературы у венгерских читателей в XIX—XX вв. еще почти вовсе не подвергалась специальному изучению. О большом и плодотворном воздействии передовой русской литературы на венгерскую общественную и литературную мысль подробных исследований еще не существует ни на венгерском, ни на русском языках. Что касается венгерского буржуазного литературоведения, то оно долгое время предпочитало вовсе не говорить об этом. Лишь после освобождения Венгрии Советской Армией появилось несколько статей, посвященных этому вопросу; часть их повторяла уже известные факты с целью популяризации исторических и культурных связей венгерского народа с великим русским народом;¹ другая часть представляла собою более «академические» труды, но эти последние, стоя на сугубо идеалистических позициях, не только исходили из формально-эстетического анализа литературных фактов, не хотели или не могли дать действительно полную и правильную картину русско-венгерских литературных отношений, но иногда даже прямо имели враждебный, антисоветский характер.² Таково, например, «Введение» Лайоша Дьердя к изданной им библиографии венгерских переводов произведений русских писателей.³

Неудивительно, что венгерское литературоведение не пыталось еще осветить надлежащим образом тот примечательный для нас факт, что

¹ См., например, Kunszeri Gyula: Orosz magyar szellemi kapcsolatok, «Demokrácia», 1945, 17 sz.; Komlós Aladár: Az orosz irodalom utja Magyarországon, «Irodalom—Tudomány», 1946, 6 sz., 59—60 о.

² Отметим Zsigmond Ferenc; Orosz, hatások irodalmunkban, Budapest, 1945 (Magyar Tudományos Akadémia) 78 стр. Értékezések a Nyelv és Széptudományi osztály köréből; 26 k., 6 sz.

³ György Lajos: A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai, Kolozsvár, 1946. Лайош Дьердь, бывший профессор университета и одно время глава католической клерикальной реакции и поповщины в румынской Трансильвании, в своем введении к указанной библиографии русской литературы на венгерском языке (стр. 3—73), изданной уже после освобождения Трансильвании Советской Армией, недвусмысленно обнаруживает свои антисоветские настроения, в особенности там, где говорит о советской литературе. Это «введение» представляет собою лишь нагромождение фактов, без всякого исторического анализа. Сам автор признает, что этот «обзор», по его словам, лишь «облегчает дальнейшее исследование», но ничего не говорит о том, что этот «обзор», читанный им венгерским студентам в 1944—1945 гг., принес большой вред, играя на руку венгерской реакции, несмотря на то, что со своей фактической стороны приложенная к нему библиография представляет известный интерес.

одним из первых русских писателей, с которым познакомились венгерские читатели и которого они действительно полюбили и оценили, был Пушкин; что касается русского литературоведения, то этот факт остался здесь неизвестным и неосвещенным. В „пушкиниане“ весьма многочисленные венгерские переводы произведений Пушкина и критические отклики на них до сих пор не учтены.¹

Две библиографические работы о русской литературе в венгерских переводах, недавно появившиеся в Венгрии и Румынии, закладывают фактическую основу для ряда последующих изучений в этой области, но требуют и дальнейших разысканий и, прежде всего, критического освещения. Таковы: только что упомянутая книга Лайош Дьердя «Связи венгерской и русской литературы» (Kolozsvár, 1946) и Шандор Козоча «Библиография русской литературы» (Az orosz irodalom bibliográfiája, Budapest, 1947 (bsszéelitotta Kozocsa Sándor)).² В обеих этих работах Пушкину уделено значительное место; цифровые, статистические данные, которые можно извлечь из этих библиографических перечней, красноречивы даже без комментариев: количество венгерских переводов из Пушкина исчисляется не десятками, а сотнями: один «Евгений Онегин» с 1866 по 1946 г. переиздавался в Венгрии 18 раз; на венгерский язык переведено, нередко по несколько раз, 99 стихотворений Пушкина, 7 поэм и т. д. По своей популярности в Венгрии в XIX в. к Пушкину приближаются лишь Лермонтов и особенно Тургенев и Л. Толстой. Сколько ни важны, однако, библиографические перечни подобного типа, они представляют собой лишь вспомогательный источник для историко-литературных работ в собственном смысле. Цифры переводов, изданий и т. д. для литературной истории интересны только тогда, когда они поддаются соответственному истолкованию и объяснению; тот цифровой итог, например, который приводит Шандор Козоча в упомянутой работе — «двенадцать десятилетий с горячей симпатией читают венгры произведения 353 русских писателей»,³ — может иметь значение только

¹ «Puschkiniána» В. И. Межова (СПб., 1886, стр. 224, № 3400 и 3405), указала лишь на одно венгерское издание стихотворений Пушкина в переводе Имре Черечи Puskín költői beszévei, fordította Cserenyi Imre, Pest, 1864, 24 стр.), не раскрыв псевдонима переводчика (Имре Зилахи) и глухо сослалась на перевод «Евгения Онегина», предпринятый Каролом Берци, как на еще незаконченный, заимствуя это известие из «Slawisches Centblatt» 1865, № 8, стр. 63, между тем, как этот перевод в полном виде вышел в свет в 1866 г. Те же данные, с прибавлением лишь отзвука о Пушкине из венгерско-немецкой газеты 1880 г., мы находим и в брошюре П. Д. Драганова «Пятидесятиязычный Пушкин, т. е. переводы Пушкина на 50 языков и наречий мира» СПб., 1899, стр. 38—39; «Юбилейный сборник историко-литературных статей о Пушкине» изд. Н. Я. Романова, СПб., 1899, стр. 789 указывает только на венгерский перевод «Евгения Онегина» Берци (sic!) в изд. 1865 г. (!). Более подробно, но преимущественно по отношению к более поздним русским писателям, небольшие обзорные статьи: П. Д. Драганов, Русские писатели в венгерско-мадьярском переводе — «С.-Петербургские Ведомости» 1900, № 283 и «Русские писатели в мадьярском переводе», — «Славянский век» (Вена) 1909, № 9—10, стр. 32—34.

² Считаем необходимым оговорить, что согласно давно установившейся в русской литературе традиции, мы ставим венгерские собственные имена перед фамилиями, а не после них, как этого требовала бы венгерская практика; однако, вопреки русской традиции, мы не считаем необходимым русифицировать венгерские личные имена (напр. Георгий вместо Дьердь, Андрей вместо Эндре, Иван вместо Янош, Александр вместо Шандор) и употребляем их в транскрипции, по возможности близкой к венгерской графике (так, например, гласную *a* без знака ударения мы передаем, как *a*, а не как *o*: Арань вместо возможного Оронь). Ср. замечания Н. Новича (Н. Н. Бахтина) в его кн. «Мадьярские поэты», СПб., 1897, стр. 110—111 и его же статью: «О передаче по-русски иностранных имен», «Журн. Мин. нар. просв.», 1911, № 3, стр. 17—18.

³ Kozocsa Sándor..., стр. 313.

тогда, когда мы будем знать, о каких писателях идет речь и почему именно они вызывали к себе горячую симпатию венгерских читателей в тот или иной исторический период, в конкретной обстановке общественной, классовой, идеологической борьбы. В этом смысле факт значительного распространения русской литературы в Венгрии в XIX—XX вв. подлежит еще серьезному, глубокому и разностороннему изучению, для которого подготовительные библиографические изыскания очень полезны, но явно недостаточны. Пока ясно лишь одно, что великая русская литература, служившая неисчерпаемым источником передовых, прогрессивных идей во всем мире, вызвала к себе большой интерес также и в Венгрии, притом в различные периоды исторической жизни венгерского народа.

В 1877 г. распространенная венгерская газета «Фёвароши лапок» («Столичные листки») сделала следующее характерное признание: «Хотя мы и не сочувствуем экспансионистской политике «московитов», но мы относимся с уважением к торжеству русского народа, проявляется ли оно в музыке, в стихах Пушкина или в романах Тургенева, и приветствуем его».¹ Это писалось во время русско-турецкой войны, т. е. в то время, когда экспансионистские стремления австро-венгерской монархии натолкнулись на сопротивление России, игравшей в то время роль освободительницы балканских народов. Отсюда действительность этой оценки вынужденной недружелюбной к России официальной точкой зрения австро-венгерского правительства, с одной стороны, и восторженным признанием русской национальной культуры со стороны венгерских читателей, — с другой. Глубокое уважение венгерцев ко всем достижениям русской культуры и искусства, ко всем качествам создавшего его русского народа не случайно и показательно, так как этот народ явил все свое величие во время национально-освободительного движения против габсбургского произвола в 60-х годах XIX в.

Русская литература, начиная с XIX в., является могучим фактором в борьбе за освобождение народа, за независимость своей родины и за великие идеалы свобождения человечества. Русский писатель, как говорил А. М. Горький, «... всю жизнь свою, всю силу сердца тратил на жаркую проповедь общечеловеческой правды, будил внимание к народу своему». «Сердце русского писателя было колоколом любви и вещей и могучий звон его слышали все живые сердца страны».²

Русские писатели, и среди них в первую очередь Пушкин, были верными выразителями чаяний народа, храбрыми и активными участниками борьбы за свободу, за прогресс, против самодержавия. «По мнению Пушкина, — замечает А. М. Еголин, — народность в литературе состоит в выражении мыслей, чувств, страстей, которыми живет народ. Пушкин разделял самые насущные, самые жгучие из стремлений народных — стремление к национальной независимости, стремление к политической свободе».³ Но не только будущность своего народа в его борьбе интересовали Пушкина. Он восхищался национальной борьбой любого другого народа, отстаивавшего свои права, искренне сочувствовал национально-освободительной борьбе греческого, испанского, итальянского народов. Еще в 1834 г. Белинский отмечает, что Пушкин «представитель современного человечества».⁴ Ничто не доказывает это лучше, как его

¹ «Fővárosi Lapok». 1877, № 10

² А. М. Горький, Статьи 1905—1916 гг., 2-е изд., 1918, стр. 48.

³ А. Еголин, Освободительные и патриотические идеи русской литературы XIX в., М., 1946, стр. 51.

⁴ В. Г. Белинский. Избранные философские сочинения, Огиз, Москва, 1941, стр. 5.

REGELŐ PESTI DIVATLAP.



Kiadja és szerkeszti Gáray János.

27. sz.

Vasárnap, April. 14. évi 1844.

3. évf.

A' LÖVES.

Novella. Puskin műveiről.

... városában szállásotánk. Ismertek egy sor utódi tiak' életét 's foglalkozásait. Reggel levag: es legvergyakorlat, ebből az eről' parancsokká, vagy egy találkozásában: eöve egy paritbe vilit 's egy howie püme. Városunkban egy ház nem volt, mit látozhatának, egyetlen egy máka nem; mi, tiztek, egy mást kerestük föl, 's fornaruhátlani, ugy azolva, lelket nem láttunk. De megis, egy pulgári tartott kö-funkhoz; küszöböl 35 éves férő, kit mi, 20 éves széköl, természetesen korosnak tartánk. Több tapasztalás, az volt, mint nekünk, 's azokotok megörvály-datás, jellemre, 's eles nyeto nem csakoly befolyással volt lju kedélyünkre. Alttában megkötötte szét véte kö-rül; oroznak jutszek, de néve külföldben hangzott. Ez előtt szerencsével szorgalm' buzuzokunk; később — nem tudták mi okból? — bocsát vün 's e' azomara városunkban települt meg, hol majl szegényül, majl pazarnu élt, nyílt fejlődnyben, mindig gyalog járt 's minden cirendéskelti tiak' számára nyílt szaktat tartat. Ebe-det, perase csak három ögy, kerkatonajtot készített, taffol állottak, de a' mellett a' chaptagnoci nem kimel-tetett. Har nehánya szeretett volna valami künelebbet tulni jangja; 's jövedelméről, még sem merészkedek wu-ki kordost temni ruta. Kis könyvtára leginkább katonai jünkkakból állt. Mindennek, 's ki kívánta, kölcsönözö könyvet, a' nélkül, hogy visszakérne, de ellenben ő maga a' keri könyvet tates nélkül add vissza. Kegyenek foglalkozása pisztolylövés volt, miért szobája falai eger: on Juszepótovna 's nyugatva valának. Ritüös

pisztolygyakornoy volt egyetlen lövészése a' parnyit szaktatnak, melyben lakott. — Ögyesége e' szaktat alketés vün; ha kedve jött volas valamellyiknek' esz-kajáról egy almetletést, nyugodtan tartok oda fejleket. Tarsadgunkban gyakran volt sző parkázdeáról, Sívio levelezék így az lövészt' soha sem leveredett e' be-azsigitésbe. Ha kérdésük: parkázdeot-e valaha? eger választasa egy száraz igen volt, mivel meglátásuk, hogy az ekkie kérdések kellemetlenek nekik. Azon veleményben valának, hogy művészetének valami szerencsétlen alkossza nyomasztja telkümeréit. Külsőben soha sem jaja ezekbe putyának tartani, mert vannak emberek, kiknek vgyaz lövec már magában elég ekkie gyantást. Egy véletlen örcsüet szobán csodálkozásra ragada ben-akák.

Egyzer, körülmények itt hoz valánk ekkie Sívio-ait. Szokott molnak szorim tvünk, t. i. Klauz igen sz-kacskák; 's azait mind rábörtöltük Sívio, aljos ban-ker. Vanszkodott, csakon soha nem jászaron; vége-eldvévé a' karkyt, mintegy 50 aranyat az szaktat-azort, 's a' bankot egeredez. A' jütek kéndéit vere. Sívio a' mellett mindig kalfgati szokott, soha nem vi-ffézi, soha nem örcsükelit magyarázatokba. Ha a' terölörténetesen szaktatkorul szaktatlatában, vagy ismétet küizeté a' ökszozotot, vgy a' maralekot fölgyezte. Mi megvazotuk ezt; de egy tiak, ki caredéskébe rövid idő előtt érkezett, jütkésközben szaktatkorul egy par-öval többet tere. Sívio amikora szaktat megérté a' szaktatát kretával, a' tiak hívva, hogy Sívio leve-lett, magyarázat akart. Bankánk nem felett, hanem hallgatva jászott tovább. A' tiak karkozas öbje 10 a' Sívio jögyeket; es nyugodtan irta az megjel. A' szakt

Az első magyar nyelven megjelent Puskin-novella.

Рис. 1

Первый перевод из Пушкина на венгерский язык („Выстрел“ в переводе Гобора Казинция в „Пештском модном журнале“ 1844 г.).

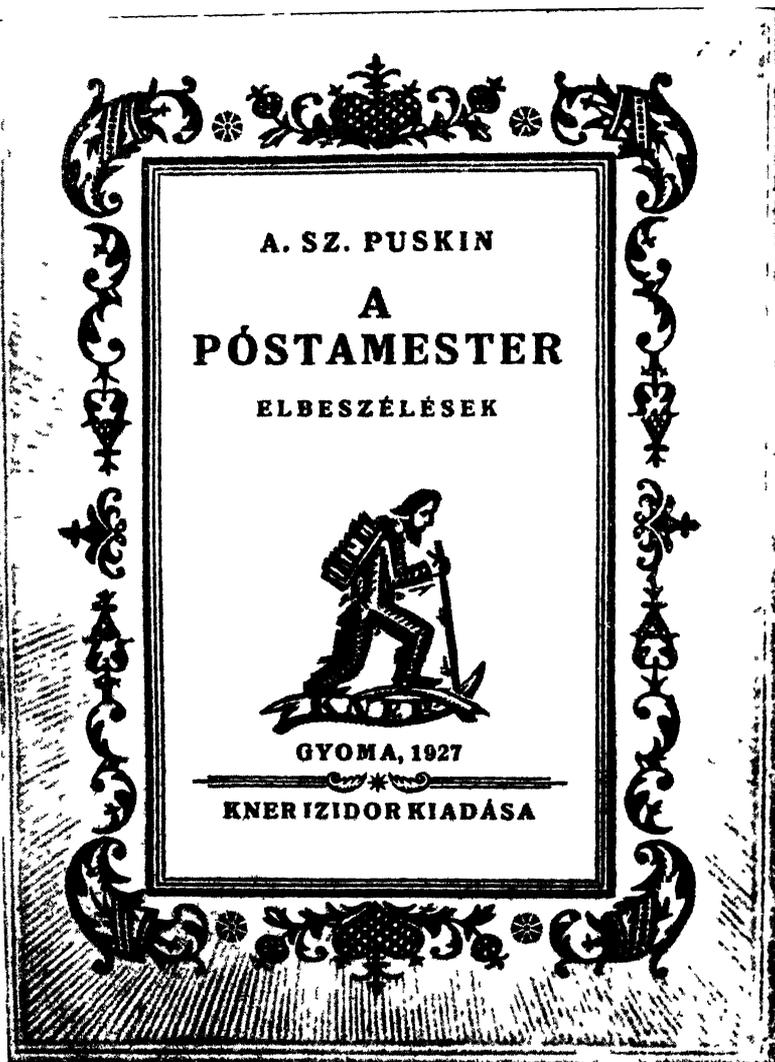


Рис 2

Венгерский перевод „Станционного смотрителя“ Пушкина 1927
(обложка)



Рис. 3

„Евгений Онегин“ в венгерском стихотворном переводе Кароля Берци (1866). Переиздание (Будапешт, 1920) (обложка).

влияние и популярность в XIX в. во всем мире, в частности в Придунайских государствах.

Первая статья на венгерском языке, посвященная русской поэзии, напечатана была в 1828 г. в X т. крупнейшего венгерского литературного журнала того времени «Тудоманьош дьютемень» (научный сборник)¹ и принадлежала Ференц Тольди (1805—1875), одному из первых историков венгерской литературы, плодовитому и разностороннему критику. Как эта, так и другие статьи того же Тольди, появившиеся в 1834—1836 гг. в другом литературном журнале — «Тудоманьтар» (издание венгерского научного общества), еще не были основаны на первоисточниках и компилировали различные сообщения о русской литературе из немецких или французских журналов. Тем не менее, эти статьи впервые познакомили венгерских читателей с Пушкиным; в статье Ференца Тольди 1834 г., основанной на материалах, заимствованных из женеvской «Bibliothèque Universelle», 1829, уже упоминается о поэме в стихах Пушкина «Евгений Онегин».² В венгерской прессе 30-х годов XIX в. в различных статьях о России также иногда можно встретить имя великого «московского поэта» Пушкина. Известия о его дуэли и смерти опубликованы были в 1837 г. в двух наиболее распространенных венгерских газетах того времени.³ В середине 40-х годов, в одном из периодических изданий появился первый и вместе с тем единственный перевод из Пушкина «Выстрел», сделанный с немецкого перевода Габором Казинци.⁴

Для более близкого ознакомления венгерской публики с русской литературой и Пушкиным еще не было предпосылок.⁵

Новая эпоха в развитии венгерской литературы, в связи с изменившимися настроениями и чаяниями венгерской интеллигенции, началась после подавления революции 1848 г., в новой исторической обстановке, в разгаре общественной борьбы.

После подавления революции 1848 г. Австрия, чтобы задушить национальное движение и лишить его какой бы то ни было почвы, попыталась ввести в стране абсолютизм и полный централизм, что ей временно удалось. В тот период, когда у власти стал генерал Бах, административный аппарат империи был унифицирован⁶ и попытки германизации Венгрии очень усилились. Из всех частей австрийской империи положение Венгрии в ту пору было едва ли не самым тяжелым. Администрируемая, управляемая на чужом языке и терзаемая немецким чиновничеством и полицией, Венгрия лишилась самостоятельности, превратившись лишь в австрийскую провинцию. Тяжелый национальный гнет усугублялся гнетом экономическим. Недвижимое имущество было обложено огромными налогами, промышленность и торговля задушены, страну хотели сделать колонией коронных земель. Опираясь на свою

¹ Toldy Ferencs, Orosz poézis, «Tudományos Gyűjtemény», 1828, т. X, стр. 105—114, «о Научном сборнике», его направлении и значении для истории венгерской журналистики и критики см. в статье Ferenczy Josephs La presse périodique en Hongrie (оттиск из «Revue de Hongrie» . . . , 15 avril, 15 mai).

² Toldy Ferencs, A muszka literatura jelen állapotja, «Tudománytár» 1834, IV, 650.

³ «Hazai s külföldi Tudósítások». 1837, № 20 (8 марта), стр. 157, № 26 (29 марта), стр. 207. № 40 (17 мая), стр. 319; «Jelenkor» 1837, № 22 (18 марта), стр. 88, № 33 (26 апреля), стр. 132.

⁴ A lövés. Novella, Puskin Sándortól (перев. Kazinczy Gábor) «Regélő Pesti Divatlap, 1844, № 27, стр. 417—422. № 28, стр. 433—436.

⁵ Fekete Sándor, A márciusi ifjuság ideológiája, «Valóság 1948, márc., стр. 161—171.

⁶ J. Redlich. Das österreichische Staats und Reichsproblem. Geschichtliche Darstellung der inneren Politik der Habsburger Monarchie, Leipzig, 1920, том 1, стр. 398.

жандармерию и бюрократию, австрийское правительство беспощадно подавляло всякое проявление национального движения. Ограничены были свобода союзов, собраний и печати. Тем не менее идея свободы была еще жива, несмотря на силу оружия и на притеснения полиции.¹ Несмотря на суровый закон о цензуре 1852 г., единственной трибуной, с которой можно было поднять голос протеста, была литература. Замечания Белинского о русской литературе, что «несмотря на тяжелую цензуру, только в ней замечается жизнь и движение вперед», с таким же правом можно было бы отнести к венгерской литературе того времени. Писатели принуждены были прибегать к аллегориям и «эзоповскому языку»; тем не менее каждый венгерец без труда понимал, что они имели в виду.² Большинство известных и статей было выбрано и написано таким образом, чтобы обмануть цензуру. Популяризировались такие идеи или события, которые напоминали о свободе, охотнее всего писали о таких людях, исторических деятелях, которые так или иначе были связаны с делом освобождения. Интерес к русской литературе был тесно связан с этими настроениями венгерских писателей. Поэтому нас не должно удивлять, что, начиная с 50-х годов, на страницах любого более или менее распространенного венгерского литературного журнала или газеты на каждом шагу мы встречаемся с именами Пушкина, Лермонтова и Тургенева, с переводами их произведений на венгерский язык, с их биографиями или с известиями об интересе к ним за пределами России. В 1853 г. «Сепиродальми лапок» знакомит публику с «Записками охотника» Тургенева, напоминая, что немцы очень хвалят этот роман. В 1855 г. в газете «Вашарнапи уйшаг» («Воскресная газета») появляется биографическая статья о Пушкине, весьма искусно внушающая венгерскому читателю ту мысль, что великий русский поэт горячо боролся за свободу в своей стране и стал в конце концов жертвой самодержавия.³ В этом же году в переводах Д. Ургази появляются «Пиковая дама»,⁴ потом «Метель» в журнале «Növilaг» («Женский мир»)⁵ и новый перевод «Пиковой дамы» («Зеленая дама»; Zöld dáma в газете «Будапешти Хирлап» («Будапештский вестник»)).⁶ В 1855 г. напечатан также «Герой нашего времени» Лермонтова, и в том же году публикуется его поэма «Хаджи Абрек». В 1858 г. напечатаны три рассказа Тургенева, переведенные с немецкого и французского языков. В четырех номерах журнала «Хельдьфутар» помещают статьи о русских народных пословицах. Как видно из этой справки, в 50-х годах Пушкин еще не был так знаком широким кругам венгерских читателей, как другие русские писатели. Но в общем русская литература в это время пользуется большой популярностью, имена русских писателей все чаще мелькают на страницах целого ряда журналов и газет. Можно ли объяснить случайностью, что заметный рост популярности русских писателей в Венгрии пришелся на 50-е годы, когда именно венгерское общество, отступившее на время от активной борьбы, в пассивном сопроти-

¹ Ярким доказательством этого было неудавшееся покушение Иожефа Либени на императора Франца-Иосифа I (18 февраля 1853 г.).

² Beóihy Zsolt, A magyar irodalom története, Budapest, 1896, т. II, стр. 660—665.

³ P. Li. Puskin S. «Vasárnapi Ujság», 1855, № 4. Возможно, что эта статья является отзвуком на появившееся в этом году изд. «Сочинений Пушкина с приложением материалов для его биографии» П. В. Анненкова, вызвавшее ряд статей как в русских, так и в западноевропейских журналах и газетах.

⁴ Pík-Dáma перев., Urházy György, «Divatcsarnok», 1855, № 24—27.

⁵ Hőföregyeteg, «Növilaг», 1857, № 42, стр. 657—666.

⁶ Zöld dáma, перев. Fekete Soma, Budapesti Hirlap, 1858, 171—177 sz.

влении с ненавистью вспоминало тех врагов своей свободы, которые подавили венгерскую революцию, и в частности именно царскую Россию, и старались изолироваться от них?

Популярность русской литературы в Венгрии не была случайным явлением. Венгерское общество неизменно видело в русских писателях прежде всего борцов против всякого насилия и произвола, борцов за свободу всего человечества. Распространение произведений русских писателей в 50-х годах было одним из действительных средств пассивного сопротивления Венгрии, боровшейся против национального гнета габсбургов.

События, происшедшие в 1859 г., и прежде всего австро-итальяно-французская война, вновь оживили венгерские общественные силы. В Европе все ждали тогда вспышки новой венгерской революции, только Маркс, в письме к Лассалю (4 февраля 1859 г.), правильно указал на те обстоятельства, которые, по его мнению, исключали возможность в то время нового революционного восстания в Венгрии.¹ Вильяфранкский мир, означавший поражение Австрии, только усилил революционное настроение венгерских народных масс. Характерно, что внешне это выразилось не в открытом столкновении с австрийскими властями, а в устройстве торжеств в честь венгерских национальных писателей, в широком и сплоченном праздновании каждого венгерского национального праздника.²

Но революционно настроенные массы выступали не против абсолютизма и реакции Баха: венгерцы хотели продолжать и осуществлять задачи буржуазно-демократической революции, начатой в 1848 г. В тот исторический момент это могло быть осуществлено лишь путем завоевания национальной независимости, поскольку эта независимость могла обеспечить освобождение от колониальной зависимости для развития венгерской промышленности и земледелия.

«Одной из действительных задач революции 1848 г. (а действительные, не иллюзорные задачи революции всегда разрешаются в результате этой революции), — писал Энгельс Каутскому, — было восстановление угнетенных и раздробленных национальностей средней Европы, поскольку они вообще были жизнеспособны и, в частности, созрели для независимости. Эта задача была разрешена для Италии, Венгрии и Германии душеприказчиками революции Бонапартом, Кавуром, Бисмарком соответственно тогдашним отношениям».³

Венгерское общество, за исключением легко шедшей на компромисс с Австрией консервативной аристократией, отвергало каждую попытку Австрии полностью подчинить себе Венгрию. Революционный подъем принимал все более угрожающие размеры.⁴ Наконец,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. письма, ОГИЗ, М.—Л., 1947, стр. 110.

² *Mód Aladár, 400 év küzdelem az önálló Magyarországért*, Budapest, 1947, стр. 134; С. Палаузов, Венгрия и современные отношения к Австрии, СПб., 1361, стр. 37—39. Палаузов стносился с величайшей симпатией к венгерскому народу. С сочувствием описывает он революционное настроение последнего и указывает на историческую необходимость венгерской национально-освободительной борьбы (стр. 44—45). Напомним, с каким горячим сочувствием относились Чернышевский и Герцен к борьбе венгерского народа в 1859—1866 гг.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVII, стр. 184—185.

⁴ Венгерское правительство в 1860 г. ведет переговоры с консервативным дворянством, которое за феодальной конституцией 1847 г. с охотой шло бы на союз Вены: Австрия со своей стороны тоже предпочитала возвращение к мирной конституционной жизни. Эта уступчивость Австрии была вызвана, очевидно, тем же революционным подъемом, который мог бы принять и более опасные для Австрии формы. См. И. П. Трайнин, «Национальные противоречия в Австро-Венгрии и ее распад», изд. АН СССР, 1947, М.—Л., стр. 98; J. R e d l i c h, op. cit., Bd. I. S. 465—471.

5 ноября 1861 г. во всей стране было объявлено осадное положение.

Единство этого революционного движения было лишь формальным, поверхностным. В действительности либеральное дворянство, во главе с Ференц Деак, в любой момент готово было пойти на компромисс в обмен на конституцию 1848 г. Отказ Вены привел их в один лагерь с теми, кто хотел «прокламацию за свободу» 1849 г. только до 1864 г. Особенностью национального движения в Венгрии в 50—60-х годах было то, что крестьянство в это движение не было вовлечено. Либеральное дворянство, которое играло тогда руководящую роль в этом движении, не хотело допустить к участию в нем крестьянские массы, а буржуазная интеллигенция не была в состоянии осуществить это. И. В. Сталин пишет: «Основу национального вопроса, его внутреннюю суть... составляет вопрос крестьянский. Этим именно и объясняется, что крестьянство представляет основную армию национального движения, что без крестьянской армии не бывает и не может быть мощного национального движения. Это именно и имеют в виду, когда говорят, что национальный вопрос есть по сути дела вопрос крестьянский».¹ Отсутствием связи с крестьянством объясняется слабость венгерского революционного движения в Венгрии в 60-х годах, его готовность пойти на компромисс.

Итак, национальное движение в Венгрии и в дальнейшем в большей своей части, благодаря более мягкой цензуре, проявило себя в литературе и журналистике.²

Самой главной задачей национального движения, с одной стороны, была мобилизация масс, разъяснительная работа и укрепление национального самосознания в широких слоях венгерского народа, а с другой — постоянное сопротивление и борьба против произвола австрийских властей и союзника их — венгерской аристократии. В этот период все эти задачи почти целиком выпали на долю венгерской литературы. Хотя писатели и принадлежали к различным партиям и находились в постоянной борьбе между собой, но выступление их в литературе против австрийского произвола было единодушным. В эти годы в Венгрии формируется тот фальшивый буржуазный патриотизм, который провозглашает, что все венгерцы — хорошие патриоты, независимо от их политических взглядов, что они, только разными путями, стараются «защитить», «гарантировать» интересы нации. Это подготавливает и создает тот компромиссный дух буржуазии, который характерен для венгерской буржуазной политики и приводит, в конце концов, к фашизму.

В 60-х годах на сценах театров, в газетах, книгах сильно звучит стремление к свободе. Для венгерской литературы того времени характерны выступления как против иностранного произвола, так и против собственной аристократии. Интерес к русской литературе в Венгрии в этот период еще более усиливается. Для нас особый интерес представляет тот факт, что именно в 60-х годах в Венгрии самым распространенным и популярным писателем в широких массах читателей, одушевленных идеей свободы, является А. С. Пушкин.

Первым венгерским поэтом, познакомившим своих читателей со стихами Пушкина, был Кароль Зилахи-Киш (Zilahy Kis Károly), глава литературной оппозиции после подавления венгерской революции.

¹ И. В. Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос, Политиздат, М., 1938, стр. 152.

² Результатом политической борьбы в 1861 г. было появление бесчисленного множества газет; так, каждая политическая группировка имела свои 2—3 газеты. Fegyver J., op. cit., p. 37—38.

В 1862 г. в одном из важнейших венгерских литературных журналов этого периода под заглавием «Сепьиродальми фиделью» (Литературный наблюдатель) Зилахи-Киш напечатал переводы двух стихотворений Пушкина «Не пой, красавица, при мне...» (1828) и «Желание» (1824), а также поэму «Бахчисарайский фонтан».¹ Через два года, в другом журнале «Февароши Лапок» он поместил также свой перевод «Капитанской дочки».² Однако Кароль Зилахи-Киш был не только переводчиком Пушкина, он был также его восторженным популяризатором и истолкователем; он часто говорит о Пушкине в своих разнообразных статьях о русской поэзии. Под влиянием Кароля Зилахи поэзией Пушкина и русской литературой вообще увлекся младший брат Кароля, Имре Зилахи-Киш, ставший одним из наиболее плодovitых переводчиков Пушкина в Венгрии в 60-е годы и даже составивший себе на этих переводах русских писателей литературное имя. Сам Имре Зилахи указал, что источником его интереса к русской литературе была поэзия Пушкина; «восхищенный ее красотами», он «взялся за изучение трудного языка»³ и овладел им настолько хорошо, что смог взяться и за стихотворную передачу русских поэтических текстов на венгерском языке.

В первой половине 60-х годов во всех более или менее значительных венгерских литературных журналах появляются переводы Имре Зилахи из Пушкина. В 1864 г. под псевдонимом Имре Черени он издал небольшую книжку под заглавием «Поэтические произведения Пушкина»,⁴ и в 1866 выпустил в свет объемистый том (370 страниц), озаглавленный «Северное сияние. Стихотворения Пушкина и Лермонтова».⁵ В книге помещены главным образом переводы из Пушкина, потому что, по мнению переводчика, «у него богаче ум, больше настроения», чем у Лермонтова.

Помимо переводов 23 стихотворений Пушкина, в книгу входят также переводы «Бориса Годунова», поэм «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники», «Цыганы», «Кавказский пленник», «Граф Нулин» и «Демон» Лермонтова. Переводчик сравнивает Пушкина с Шандором Петёфи и Яношом Арань, которых в это время считали в Венгрии крупнейшими поэтами мирового значения. Зилахи между прочим считает, что не только стихи, но и повести Пушкина «бесподобны и непревзойдены в мировой литературе».

Одним из воодушевленных популяризаторов Пушкина в Венгрии в это десятилетие был Пал Дьюлай (1826—1909), самый авторитетный и острый критик этого периода. В газете «Сепьиродальми фиделью» («Литературный наблюдатель»), а впоследствии в своем журнале «Будапешти семлелью» («Будапештское обозрение») он постоянно публиковал переводы произведений Пушкина и сам также перевел несколько его стихотворений. Один из его друзей Ласло Арань свою литературную деятельность начал с переводов из Пушкина и Лермонтова. Так,

¹ «Ne zengd óh leány!...», Szépirodalmi Figyelő, I k., 18 sz., 227 o.; Zilahy Károly Munkái, Pest, 1866, I k., 19 o. Eszaki Fény, Pest, 1866, 347—348 o.; «A vágy hívott...», Fordította Zilahy Károly, Zilahy Károly Munkái, Pest, 1866, I k., 20—21 o., Északi Fény, 348—349 o.; «A bakcsiszeralvi forráshoz», Fordította Zilahy Károly, «Nővilág», 1862, I o. sz., 153 o., Zilahy Károly Munkái, I k., 18 o.

² «A kapitány leánya»; Fordította Zilahy Károly, «Fővárosi Lapok», 1864, 19—38 sz.

³ Введение Имре Зилахи к «Северному сиянию».

⁴ Puskin költői beszéletei, Fordította Cserényi Imre, kiadja Zilahy Károly Pest, 1864.

⁵ Zilahy Imre «Eszaki Fény. Költemények Puskin Sándor és. Lermontoff Mihály után. Pest, 1866, 370 o.

в 1865 г. по немецкому переводу Ф. Боденштедта, он сделал венгерский перевод пушкинской «маленькой трагедии» «Каменный гость».¹

Одним из центров литературной жизни в Венгрии в это время являлось основанное еще в 1836 г. в Будапеште в память венгерского драматурга и поэта Кароля Кишфалуди (1788—1831) литературное общество имени Кишфалуди (Kisfaludy Társaság), ставившее своей целью заботиться о разработке венгерского литературного языка и литературы, поощрять развитие теоретических и эстетических исследований. Оно немало интересовалось также популяризацией в Венгрии выдающихся иностранных писателей,² систематически устраивало публичные заседания, на которых обсуждались различные теоретические и историко-литературные вопросы, читались литературные произведения, оригинальные и переводные, а также издавало их в своих трудах и отдельными книгами. На заседании этого общества, состоявшемся в октябре 1865 г., решено было издать венгерский перевод «Евгения Онегина»,³ за который взялся один из образованнейших писателей того времени, Кароль Берци (Bérczy Karoly, 1823—1867). В 1844 г. Берци состоял членом знаменитого «кружка десяти», к которому принадлежал также Шандор Петёфи. Составлявшие этот кружок молодые радикально настроенные венгерские писатели и поэты примыкали к левому крылу революционных деятелей 1848 г. Все они одушевлены были мыслью о служении народу, о культурно-просветительной миссии интеллигенции в широких народных массах. Правда, Берци не был радикалом, его следует скорее называть представителем прогрессивно настроенной венгерской буржуазии; тем не менее, в 1849 г. он написал ряд революционных стихотворений, которые свидетельствуют о его республиканских убеждениях в те годы. В пяти томах его полного собрания сочинений помещены его стихи, повести, критические этюды, переводы; «Дорога жизни» и «Излеченная рана» считаются лучшими из его повестей по своему стилистическому мастерству и тонкому психологическому анализу.

Представляет несомненный интерес вопрос о том, как возник первый венгерский перевод «Евгения Онегина», сделанный Берци, как заинтересовался он Пушкиным? О том, как у Берци возник интерес к «Евгению Онегину», он сам рассказывает в предисловии к своему переводу (в издании 1866 г. впоследствии воспроизводившемуся и во всех других многочисленных изданиях).⁴

С творчеством Пушкина, и, в частности, — с «Евгением Онегиным», Берци познакомился еще в 50-х гг. по немецкому переводу Ф. Боденштедта. «Перевести знаменитое произведение на венгерский язык я решился тогда, — пишет Берци (предисловие помечено 16 марта 1866 г.), когда несколько лет тому назад снова перечитал его; я был настолько захвачен его красотой, что, попытавшись перевести первую строчку, увлекся и кончил тем, что перевел целую главу». Любопытно, что именно этот перевод первой главы «Онегина», сделанный с немецкого, открыл ему дорогу к избранию в члены литературного «Общества имени Кишфалуди».⁵ Берци поразили в «Онегине», по его собственным

¹ A szobor vendége, Forditotta, Arany László (1865). См. в книге Arany László költeményei Budapest, 1899, стр. 283—333.

² I. Kont, Etude sur l'influence de la littérature française en Hongrie (1772—1896), Paris, 1902, стр. 462.

³ „Slavisches Centerblatt, 1865, № 63.

⁴ Anyégin Eugén, Regény versekben. Oroszból fordította: Bérczy Károly, Pest, 1866, Kisfaludy-Társaság X XIV, 296 стр.

⁵ György Lajos, op. cit., стр. 11.—Перевод Берци второй главы «Евг. Онегина», (по переводу Боденштедта) вышел в свет в 1863 г.

словам, «самобытность» произведения Пушкина, делающая каждый его стих «характерно русским» и в особенности его «реализм». «Этот русский поэт дает естественную и верную картину русского общества его времени, и эти картины именно потому красивы и захватывающи, что они верны и правдоподобны»... Поэтому, он не мог ограничиться переводом лишь одной главы «Евгения Онегина» и его, естественно, не мог удовлетворить перевод, сделанный им с перевода, а не подлинника. «Я чувствовал, — пишет он, — что копия с копии бледно и бесцветно отражает действительность и желание читать подлинный текст и переводить с него, все сильнее и сильнее захватывало меня».¹

Так возникло его желание изучить русский язык, — «ради Пушкина». Значительную помощь в этом оказал Берци известный профессор кафедры славяноведения Будапештского университета Иожеф Ференц, прекрасный лингвист, владевший семнадцатью языками, в том числе и русским.² К изучению русского языка Берци приступил с большим упорством: в этом, столь трудном для венгерца деле, ему могло помочь знакомство со словацким языком. После шести месяцев настойчивого труда над русскими грамматиками, словарями, упражнениями, Берци смог уже снова заняться переводом «Евгения Онегина», на этот раз непосредственно с русского подлинника. Берци стал первым крупным венгерским литературным деятелем, который специально изучил русский язык в литературных целях и мог переводить произведения русской поэзии не через посредство какого-либо иноязычного перевода.

Из воспоминаний Арани Ласло мы узнаем, что над переводом «Евгения Онегина» Берци работал более трех лет с настоящим энтузиазмом;³ своим друзьям он охотно читал отрывки из готовых частей, делился своими затруднениями, выслушивал их замечания, перерабатывал написанное. Среди этих друзей, между прочим, был и писатель Эбтваш Иожеф, игравший руководящую роль в вышеупомянутом литературном «Обществе им. Кишфалуди». Этим, может быть, и объясняется, что еще до того, как перевод был закончен, он уже был намечен к изданию именно этим обществом (Берци предоставил право издания своего перевода именно этому Обществу).

Во «Введении» к своему изданию «Евгения Онегина» Берци упоминает, что для перевода он воспользовался первым посмертным изданием сочинений Пушкина 1838 г., экземпляр которого нашелся в библиотеке «Сербской Матицы» в Новом Саде.

Его, между прочим, смутило то обстоятельство, что в этом издании отсутствует ряд строф, обозначенных, однако, римскими цифрами, относительно которых он не мог решить, вычеркнуты ли они самим автором, либо выброшены царской цензурой; это заставило его сверить текст, с которого производился перевод, с другими русскими изданиями «Евгения Онегина», в частности, с каким-то изданием, которое он называет «первым». В примечаниях к своему переводу Берци прямо указывает, какие стихи переведены им по этому «первому» изданию, как отсутствующие в издании 1838 г. Необходимо также отметить, что ввиду распространенности среди венгерских читателей немецкого перевода «Евгения Онегина», сделанного Боденштедтом, Берци отметил и те стихи Пушкина, которые у Боденштедта остались непереведенными. Желая сохранить максимальную верность подлиннику и не считая себя

¹ Предисловие к переводу «Евгения Онегина».

² Там же.

³ Arany László, Összes Munkái, т. II. — Bérczy Károly emlékezete, стр. 95.

в праве что-либо изменять или «поправлять» в тексте Пушкина, Берци принужден был упрекнуть Боденштедта за целый ряд допущенных в его переводевольностей или даже сознательных искажений. Берци справедливо указал на ряд самим Боденштедтом сочиненных стихотворных строк.

В качестве примера он, между прочим, ссылается на окончание второй главы «Евгения Онегина» (строфы XXXIX и XL), где Пушкин говорит о себе с присущей ему скромностью и юмором —

Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

Вместо этих стихов в переводе Боденштедта нечто совсем иное:

Nach Ruhm des Tages sterb' ich nicht,
Doch hätt ich gern durch mein Gedicht.
Ein dauernd Denkmal mir errichtet,
Dass man des Dichters nicht vergisst,
Wenn auch sein Staub begraben ist.

Легко видеть, что у Боденштедта мысль Пушкина приобрела совершенно обратный смысл; если Пушкин полунасмешливо говорит, что

Без непрямого следа
Мне было б грустно мир оставить...

то Боденштедт от себя прибавляет строки о «долголетнем памятнике», который он хотел бы себе воздвигнуть своей поэмой: ирония Пушкина и к себе и по отношению к «будущим невеждам» в передаче Боденштедта исчезла вовсе, замененная вполне серьезными самообольщением и тщеславием, совершенно выпадающими из общего стиля повествования. «Введение» к переводу Берци «Евгения Онегина» дает краткую, но содержательную характеристику Пушкина-поэта; некоторые данные заимствованы Берци у Герцена.

«Евгений Онегин» в переводе Берци имел большой успех у венгерских читателей и хорошо знаком им и в настоящее время.¹ Он переиздавался много раз и продолжает выходить в новых изданиях как классический венгерский стихотворный перевод иностранного произведения. С большой похвалой об этом переводе отозвался Имре Зилахи-Киш в предисловии к своему сборнику «Северное сияние», назвав роман Пушкина одним из замечательных произведений мировой литературы.² Такую точку зрения можно найти также и во многих старых венгерских историко-литературных трудах, далеко не склонных, как мы уже отметили выше, считаться с фактом значения русской литературы для венгерской. Так, в известной «Истории венгерской литературы» Беоти, представляющей собою первый обширный синтетический труд, придерживающийся, однако, вполне «официальной» буржуазной точки зрения, также говорится, что Берци в своем переводе «Евгения Онегина» сумел передать весь колорит произведения и что оно само «настолько совершенно, что роман русского поэта стал одной из самых популярных в Венгрии книг».³ И. Конт в своей «Истории венгерской литературы» на французском языке, рассчитанной на западноевропейского читателя,

¹ Keresztury Dezső Puskin és a magyar olvasó [Irodalom Tudomány] 1946, V, 5—10, о., «Magyarország» 1946, 24.

² Введение к сборнику «Северное сияние».

³ Beöthy Zsolt, A magyar irodalom története Budapest 1896, II, k. 786 о.

в небольшой заметке о Кароле Берци считает необходимым указать: «Берци изучил русский язык, чтобы перевести «Онегина» Пушкина венгерскими стихами, размером подлинника; этот перевод, несомненно, один из лучших, сделанных за границей (переводов романа Пушкина); каждая строфа выдает любовь венгерского писателя к оригиналу; затруднения всякого рода побеждены здесь с редким мастерством».¹

Большое количество статей о Пушкине, биографических заметок, рецензий на переводы его произведений и т. д. появляется в венгерских журналах и газетах 60-х годов. Уже и десятилетием раньше венгерские периодические издания охотно пишут об его жизни, истории его любви, роковой дуэли. Дьюла Томашифи в своем стихотворении «Пушкин» (1863), основываясь на известиях, почерпнутых из этих изданий, воспеваает Пушкина — жертву царского произвола.² Популярность Пушкина и русской литературы была в эти годы так велика в Венгрии, что для более интенсивного литературного обмена Дьюла Иготко поднял вопрос о создании литературного журнала на русском языке.³ Кроме того, в 1864 г. возник проект создать «Славянскую библиотеку», в которой, помимо русской литературы, печатались бы произведения других славянских литератур — чешской, польской, хорватской, сербской. Эту мысль выдвинул Денеш Пете, который начал заниматься русской литературой под влиянием Кароля Берци.⁴ Даже буржуазное литературоведение признает большую популярность Пушкина у венгерских читателей, и в литературных кругах в 60-е годы Пушкина в этот период венгры считали своим поэтом.⁵

Возникает вопрос, что является причиной столь значительной популярности Пушкина в Венгрии в 60-х годах? Красота ли его произведений, звучность и мелодичность его стихов была причиной этому? Нет, венгерская общественность и писатели видели в нем в те годы в первую очередь поэта, боровшегося с самодержавием и ставшего его жертвой, поэта, воспевавшего народ и свободу. Пушкин стал самым популярным поэтом в Венгрии в 60-х годах потому, что в его творчестве видели как бы воплощенными все основные стремления венгерского народа — его произведения вдохновляли и на свержение габсбургского произвола и на борьбу с местной аристократией; в нем черпали идеи личной и народной свободы.

В 1862 г. Пал Дьюлай, выражая свое удовольствие по поводу того, что венгерские переводчики все больше и больше интересуются «русской литературой, обладающей столь замечательными поэтами», писал, между прочим, следующее: «Там (в России. — Г. Х.), как и у нас только лишь несколько десятилетий тому назад, поэзия стала национальной: народно-национальные элементы в сходных же обстоятельствах пробились вверх; русский поэт так же борется с французской культурой высших кругов, как мы с немецкой культурой нынешних наших высших кругов; недовольство существующим политическим и общественным положением одинаково чувствуется как у русского, так и у венгерского поэтов».⁶ И писатели, и венгерские читатели видели свои идеалы в Пушкине, поэте-борце, который цел о народе, о зреющих в нем силах, о его освобождении. Популяризация биографии Пушкина, полной эпизодами

¹ J. Kont; Histoire de la littérature hongroise, Budapest-Wien—Paris, 1900, p. 387.

² Nőgyűfűtár, 1863, II, 50.

³ Fővárosi Lapok, 1866, 40 sz.

⁴ Koszoru, 1864, II, 21 sz., 503 o.

⁵ György Lajos op. cit 51 o.

⁶ Gyulai Pál kritikái dolgozatainak újabb gyűjteménye, Budapest, 1927, 137 o.

его героической борьбы с самодержавием, его произведений в новых и новых переводах, укрепляли венгерское национальное самосознание, просвещали венгерские народные массы в их борьбе против австрийского произвола и венгерской аристократии и учили их любить свободу. Даже простое упоминание имени Пушкина играло роль протеста, оружия в национальном движении 60-х годов. За распространение его поэзии ратовала лучшая часть венгерских писателей этого периода в ее борьбе «с упадочническими настроениями и эпигонством венгерской литературы после 48 года», как характеризует этот период венгерский критик.¹

Влияние Пушкина в Венгрии в 60-х годах в отличие от влияния известных здесь в то время западных писателей выразилось не столько в литературных или стилистических «подражаниях» ему, сколько в усвоении духа и целенаправленности его творчества и поэтому имело глубокий общественно-политический смысл. Естественно, впрочем, что отношение к Пушкину различных венгерских писателей не могло быть единым. Большинство видело в нем поэта-борца с неправдой и произволом, но и в это признание каждый из венгерских писателей и критиков вносил свои характерные классовые отличия и оттенки. Так, либеральные дворяне Имре Зилахи-Киш или Мор Йокай видели в Пушкине прежде всего поэта-декабриста, дворянского революционера, борющегося против господства аристократии. Пал Дьюлай или Ласло Арань, напротив, изображали его прежде всего как борца за национальную культуру, за народ в буржуазно-националистическом смысле. Благодаря популярности и авторитету этих венгерских писателей подобные точки зрения на Пушкина получили в Венгрии довольно значительное распространение. В доказательство мы можем сослаться хотя бы на один, впрочем достаточно характерный, пример.

Интересным показателем популярности в Венгрии во второй половине XIX в. Пушкина-поэта, а также знакомства с его человеческим обликом и с фактами из истории его жизни может служить роман весьма популярного венгерского писателя Мора Йокая (1825—1904), озаглавленный: «Свобода под снегом или зеленая книга» (Szabadság a hóalatt vagy a zöld könyv). Это весьма фантастический роман из русской жизни, посвященный заговору и восстанию декабристов, в котором выведен также и Пушкин. Для того чтобы видеть, насколько далек от действительности этот «исторический» роман знаменитейшего из венгерских беллетристов XIX в., достаточно сказать, что одним из центральных действующих лиц «Свободы под снегом» является некий, разумеется, полностью вымышленный Йокаем, князь Иван Максимович Гедимин. Гедимин стоит во главе заговора «Зеленой книги», под которым нужно подразумевать, повидимому, «Северное общество» декабристов; в романе выведены Пестель, Рылеев, Якушкин и др. Гедимин является другом Пушкина и влюблен в знаменитую финскую певицу Зинаиду Ильмеринен. Последняя любит Пушкина, но старается устроить его свадьбу с какой-то фантастической грузинской княжной Bethsaba (!). Аракчеев со своими приспешниками пытается вскрыть нити заговора тайного общества «Зеленой книги». Зинаида спасает жизнь Пушкина и Гедимина, но не может воспрепятствовать ссылке последнего в Сибирь. Таков, в общих чертах, этот, сюжетно очень занимательный, как и все произведения Йокая, но во всех отношениях неправдоподобный роман, составленный им с помощью ряда иностранных сочинений о России,

¹ Lukács György, Irástudók felelősége, Budapest, 1945, 33 о.

большую часть весьма сомнительной достоверности.¹ Отметим, впрочем, что в романе выведена также цыганка, и что в тексте несколько раз цитируются отрывки из «Цыган» Пушкина в стихотворном венгерском переводе самого Йокая, сделанном, разумеется, не с русского подлинника.² Как и все произведения Йокая, роман этот, несомненно, много читался в Венгрии.³

Из венгерских писателей того времени вернее других понял Пушкина Кароль Берци, типичный представитель венгерской буржуазии 60-х годов. Его пленил реализм Пушкина. Он считал, что в венгерской общественной жизни его времени были известные аналогии тому, что наблюдалось в жизни русского общества в 30-е годы XIX в.; с его точки зрения, например, недовольство венгерской буржуазии аристократией и «официальными либералами» могло почерпнуть в творчестве Пушкина немало весьма поучительного, например в области борьбы с иноземными культурными влияниями в национальной жизни. «Русский поэт, — писал Берци, — видел, что русское высшее общество под иностранным влиянием стало тем, чем оно является, и его культура является лишь отражением западной культуры». «Пушкин, — писал Берци далее, — не может примириться с существующим порядком, с государственной жизнью, не может признать за основу власти национальную силу, опирающуюся на пушки и штыки, но несмотря на это, не может отказаться от инстинктив-

¹ Из примечаний Йокая к роману видно, что источниками для его произведения послужили несколько иностранных сочинений о России и о заговоре декабристов, французские и немецкие по преимуществу.

² Первое издание этого романа вышло в свет в Будапеште в 1879 г. в четырех томиках. Мы пользовались текстом так называемого «национального» собрания сочинений Йокая в 100 томах, в котором «Свобода под снегом» занимает весь 66-й том (Jókai Mór, összes művei nemzeti kiadás, LXVI, k, Budapest, 1897). В приложении к «Szabadság a hó alatt» в этом издании на стр. 466—482 напечатаны «Цыганы» Пушкина в венгерском стихотворном переводе Йокая (названные, впрочем, «Цыганская девушка»: A Czigányleány, Elbeszélő költemény Puskin Sándortól со следующими примечаниями переводчика: «Думаю, что читатели «Свободы под снегом» с удовольствием прочтут эту поэму, о которой так много говорилось в самом романе; поэма дается в переводе автора» (стр. 466).

³ Сочинения Пушкина Йокай знал в переводе Ф. Боденштедта Jean Hankiss («Jekai et la France, Revue de lit. Comparée» 1926, p. 270—271), исходя из того значения, которое для Йокая имела французская повествовательная литература, высказал догадку, что в построении сюжета «Свободы под снегом» Йокай воспользовался рядом ситуаций в романе А. Дюма из русской истории «La maison de glace», не зная, однако, о том, что этот роман Дюма, в свою очередь является переделкой романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом»! Ж. Ганкиш не знал также, что другой, весьма бойкий французский романист Луи Юльбак, «в подражание» указанному роману М. Йокая составил свой роман и озаглавил его даже «Свадьба Пушкина» (собственно два романа, служащих продолжением один другого: «Le tapis vert», imité de Maurice Jókai, par Louis Ulbach, (Paris, 1880) и «Le mariage de Pouchkine» (Paris, 1881). Оба романа представляют собою обработку буквального рукописного перевода романа Йокая с венгерского на французский язык с соответствующими переделками и амплификациями, рассчитанными на «вкусы» французских читателей. Легко представить себе, какие нелепости оказались во всех этих романах, переживших столь удивительные трансформации, и как мало следов осталось в них от их русской исторической или литературной основы! Тем не менее, указанный роман Йокая под заглавием «В стране снегов» начал печататься в русском переводе в журнале Салиаса «Полярная Звезда» (1881, №№ 1—6), но перевод дошел только до половины и был запрещен цензурой. Роман Йокай отмечен был в кратком очерке венгерской литературы Вл. Зотова; он пишет, что роман Йокай «Свобода под снегом»... имеет исторический характер; действие его происходит в России, во времена Александра I, но действующие лица нисколько не похожи на русских». Вл. Зотов. История всемирной литературы, т. IV, СПб., М., 1882, стр. 807. Об ошибках в биографиях Пушкина и Лермонтова, принадлежащих перу М. Йокая, см. также в заметке «Русь за границей» в газете «Россия» 1888, 5 ноября, № 41, столбец 454.

ной надежды на будущее наличие своей родины; русский писатель бичует все это, чтобы добиться перемен и сквозь слезы смотрит на отечественные условия, давая им верное, естественное отображение».¹

Упомянем здесь еще о поэте Яноше Вайда (1827—1897), который, хотя и не переводил Пушкина (он был переводчиком «Героя нашего времени» Лермонтова), но хорошо его знал; в творчестве Вайда, как увидим, произведения Пушкина несомненно оставили заметные следы. Его понимание Пушкина отображает взгляд на русского поэта венгерской прогрессивной демократической интеллигенции. Я. Вайда видит в Пушкине борца за народ, правдивого изобразителя народа и вдохновенного певца его чаяний и надежд.

Влияние, которое оказал Пушкин на развитие венгерской литературы в течение трех десятилетий после компромисса 1867 г. до выступления Эндре Ади — крупнейшего венгерского поэта демократа XIX в., проявилось в самых разнообразных формах. У Пушкина учились писательскому мастерству, он вдохновлял и своими идеями и общественной содержательностью своего творчества.

Венгерское буржуазное литературоведение, как мы уже указывали выше, тенденциозно замалчивало вопрос о влиянии русской литературы, в частности произведений Пушкина на литературу венгерскую.

В венгерских историко-литературных трудах поднимались изредка в этой связи лишь частные и случайные вопросы (например, о влиянии «психологизма» Достоевского), но такая важная проблема, как отношение венгерского реализма к русскому, выяснение роли русской литературы в его формировании, разработана еще не была, хотя современная венгерская литература без этого непонятна и интерпретация ее фальшива. Правда, буржуазное венгерское литературоведение не занималось еще самим реализмом, только современные марксистские работы по литературоведению и эстетике стали подходить к этому вопросу, но и они до сих пор более интересуются разъяснением общих понятий по отношению, главным образом, к современной литературе.²

Так называемое «соглашение 1867 года» в истории Венгрии являлось соглашением венгерского помещичьего класса с австрийской буржуазией. В результате оно привело к завершению австрийской революции.

«Буржуазная революция в Австрии, — писал Ленин, — началась в 48 году, и завершилась в 67 году».³ Это было достигнуто ценой венгерского компромисса, когда Венгрия была подданной австрийской буржуазии. Поэтому под формальным равноправием таилось господство австрийского капитала в Венгрии.⁴ Признание конституции 1848 г. без осуществления декларации независимости 1849 г. означало лишь формальное завершение венгерской буржуазной революции. Поэтому после 1867 г. венгерская буржуазия усилила борьбу за экономическую независимость, за взятие в свои руки руководства венгерской экономикой. Когда эта борьба достигла частичного успеха, верхушка буржуазии, испугавшаяся усиления пролетариата, слилась с помещиками. Но мелкобуржуазные массы одно время продолжали еще бороться. Эта борьба

¹ Введение Берци к «Онегину».

² См. статью Дьердя Лукача между 1945—1948 гг. полемику Гоал Габор и Бенедек Марцел в журн. «Утунк», 1947 и журналы «Форум», «Валошаг» и т. д.

³ В. И. Ленин, Соч., изд. 3-е, т. XVII, стр. 436.

⁴ И. П. Трайнин, «Национальные противоречия в Австро-Венгрии и ее распад», изд. АН СССР, 1947, М.—Л., стр. 142, 229.

шла не за демократические преобразования, это было лишь либеральное движение за ускорение капиталистического процесса.¹

Эти две фазы борьбы венгерской буржуазии вплоть до первого десятилетия XX века отразились и в венгерской литературе. После 1867 г. австрийское угнетение было заменено «угнетением народа в национальной форме».² Исторические классы долгое время монополизировали все отрасли культуры, уничтожив всякие тенденции, противостоявшие этому стремлению. Создалась «официальная литература», по выражению Дьердя Лукач, литература, которая попыталась отгораживать от литературы все новое и прогрессивное. Начиная с 70-х годов демократическая буржуазия, не имевшая возможности и не смевшая выступать в обстановке «жандармской свободы», подняла свой голос против господствующего класса и официальной литературы. Нередко это был лишь литературный протест. Эта буржуазная оппозиция, опиравшаяся на русскую литературу, пока не находила своей реалистической формы выражения. Она искала опоры в прозе Тургенева и Гоголя, в поэзии Пушкина. Вдохновленные реализмом этих русских писателей, венгерские писатели изображали венгерскую действительность.

В 70—80-х годах XIX в., когда политические и общественные противоречия в Венгрии особенно обострились, недовольная, с одной стороны, мелкая буржуазия, и угнетенные рабочие и крестьянские массы — с другой, вели свою борьбу прежде всего в области литературы. В ходе этой борьбы на основе влияния русских писателей рождается венгерский реализм. Наибольшая популярность Тургенева, а затем Гоголя падает именно на эти десятилетия. В 1877 г. на венгерском языке издается роман Чернышевского «Что делать?», в 80-х годах венгерское общество знакомится также с Некрасовым.³

Влияние Пушкина, обеспечило рост современной венгерской литературы и подготовило выступление поэта демократа Ади Эндрэ. Венгерские читатели 70-х годов считали Пушкина величайшим поэтом мира. В 80-х годах, когда был открыт памятник Пушкину в Москве, множество статей о русском поэте было опубликовано в венгерских журналах и газетах. Венгерская газета «Пастер Ллойд», издававшаяся на немецком языке, заявила, что «немецкая литература не может указать на поэта, ему равного».⁴

Венгерский роман в стихах берет свое начало и развивается под влиянием Пушкина, и на всех произведениях этого рода лежит пушкинская печать. Самым выдающимся мастером этого жанра был переводчик Пушкина и Лермонтова Ласло Арань; наиболее удачным его произведением был роман в стихах «Герой Фата Моргана» (1873), целиком написанный под влиянием «Евгения Онегина», что заметили уже и современники.⁵ Вторым поэтом, писавшим в этом роде, был Пал Дьюлай. Его роман в стихах «Ромчаны» (Romcsanuyi) считается одним из самых удачных произведений этого жанра и восходит к Пушкину идеологически и по формальным признакам.⁶ Сам Дьюлай подчеркивал, что его учителем был Пушкин с присущим ему реализмом.⁷ Все венгерские «романы

¹ Lukács György, op. cit., 57 o.

² Lukács György: A 100-éves Toldi, «Forum», 1947, 501 o.

³ См. указания библиографии.

⁴ Pester Lloyd, 1880, № 30. Этот отзыв уже приведен был в отрывках и с соответственной оценкой в газете Е. Карновича «Отголоски», 1880, № 23, стр. 366 и у П. Д. Драганова, Пятидесятиязычный Пушкин, СПб., 1899, стр. 39.

⁵ A délibábok hőse; ismertető. Vadrái Károly, «Fővárosi Lapok» 88 sz.

⁶ «Fővárosi Lapok», 1871, 39 sz., 1872, 221 sz.

⁷ Papp Ferenc: Gyulai Pál, Budapest, 1941, II, k., 16 o, 75 o.

в стихах», включая сюда и вышеупомянутые, в литературном отношении, стоят не очень высоко. Их ценность в настоящее время прежде всего историческая.

У крупного венгерского поэта второй половины XIX в. Яноша Вайда (1827—1897), с произведений которого начинается свою историю современная венгерская поэзия, также проявляется влияние Пушкина. Буржуазное литературоведение не видит в Вайде поэта 48-го года, а лишь пессимиста 70—80-х годов и не считает его борцом против современных ему правящих общественных классов. Однако, в самом деле, что это за пессимизм, который был свойствен Вайде? Это острый политический протест против соглашения 1867 г., с одной стороны, а с другой—горькие разочарования в той интеллигенции, вместе с которой поэт боролся за свободу в революции 48-го года и после нее, но которая после компромисса 48-го года находилась в полном упадке. Здесь и находится объяснение того «человеконенавистничества», которое будто бы ему присуще, с точки зрения буржуазных венгерских критиков¹ (см., например, его стихотворение «Песня Люзитана», ярко выражающее непонятый критикой политический протест Вайды). Его патриотические стихи принадлежат к лучшим в венгерской поэзии. В них ясно высказалась его любовь к родине, к родине 48-го года, к венгерскому народу. Его родина — это Венгрия, созданная революцией, за которую жертвовали жизнью воспетые им «красношапочники» (молодежные авангардные войска времени революции 1848 г.). Его понимание нации и ее будущего создано под влиянием Пушкина (см. например, его стихотворения «Самоосуждение» и «Обуржуаживание»).

В сущности, мало кто из венгерских поэтов так оптимистически взирал на грядущее, как этот «пессимист» и «человеконенавистник» Вайда.

В его печальных стихах все-таки светит надежда — народ, чистый носитель торжества, справедливости и человеколюбия. Поэт мечтает о будущем, которое будет веком гуманизма и счастья. Веру в будущее он черпает из уверенности в грядущем торжестве народа. Он мечтает, что после этой победы восторжествует мир, ибо люди познают истину. Одно время в своих стихах Вайда давал широкую картину современного ему общества.² Вера в силу народа проявляется также в его стихотворениях, построенных на темах и образах народного творчества (см. его стихотворения «Абель Аронко», «Тержек Янко или лживый силач»). Вера в народ, взгляд на него, как на залог будущего, проявляющегося у Вайды с полной силой, и означает торжество пушкинских идей и его оплодотворяющего влияния на венгерскую общественную мысль. Поэтому и Эндре Ади считает Вайду своим учителем и предшественником.

Борьба за новую современную литературу идет до появления Ади.³ Поэт-демократ, один из достойных продолжателей дела Шандора Петёфи, Эндре Ади (1877—1919), знал произведения Пушкина с молодых лет. В его юношеских стихах уже звучали мотивы из Пушкина; таково, например, его стихотворение «Письмо Татьяны» (1899), восходящее к «Евгению Онегину».⁴ О том, как Эндре Ади уже в эти годы любил и знал Пушкина, отчетливо представляя себе его значение в истории русской и мировой поэзии, свидетельствует следующий любопытный факт. В венгерскую печать проникло известие о том, что в России по случаю сто-

¹ Beöthy, op. cit. II, k., 727 o.

² В стиле Пушкина написал Вайда поэму «Свидание», 1877.

³ Lukács György, op. cit., 32 o.

⁴ György Lajos, там же, стр. 17; и A dy Endre; Rövid dalok egyről, másról, összegyűjtötte Földessy Gyula, Budapest, 1923, 19 o.

летия со дня рождения Пушкина некий «директор железной дороги» воспретил своим чиновникам участвовать в устроенном по этому поводу празднике, поскольку «Пушкин не был железнодорожным служащим».¹ Этот анекдотический случай вызвал глубокое возмущение Эндре Ади и вдохновил его к написанию стихотворения, озаглавленного «Пушкин», в котором он защищает «святое и дорогое» имя русского поэта от посягательств на него невежественных царских сатрапов. Стихотворение Э. Ади тогда же было напечатано в газете «Дебрецен».²

Однако совершенно не случайно, что венгерская литература, которая выросла из самобытной венгерской жизни, находилась под ощутимым воздействием русской реалистической литературы. Это влияние исходило от тех русских писателей, которые выросли на народной почве и боролись за такие же цели, как и венгерский народ.

История последних двухсот лет венгерского народа — это борьба за свободу в изменяющихся исторических условиях против господствующих классов и иностранного угнетения. Особенность русской литературы Роза Люксембург охарактеризовала в следующих словах: «Отличительной чертой этой внезапно столь пышно расцветшей русской литературы является то, что она народилась из оппозиции к господствующему режиму, из духа борьбы. Эта черта заметно отражается на ней в течение целого XIX века. . . Русская литература стала под властью царизма, как ни в одной стране и ни в какие времена, могучей силой общественной жизни и осталась на своем посту целое столетие, до тех пор, пока ее не сменила материальная мощь народных масс, до тех пор, пока слово не стало плотью».³

Эта боевая черта русской литературы роднит ее с венгерским народом и объясняет решительное влияние Пушкина на развитие венгерской общественной мысли и литературы.

Торжество Пушкина сделало более сознательными любовь к свободе, борьбу за независимость в угнетенном венгерском народе, и под его влиянием внедрилась в литературное сознание уверенность в победу народа.

Венгерский народ рассматривал Пушкина как своего поэта второй половины XIX в., поэта, который хотя в другой исторической обстановке писал для другого народа, все-таки выражал главные стремления и желания венгерского народа. Эти стремления в течение столетий остались лишь желаниями, и осуществлению их способствовал именно тот народ, который дал Пушкина. Лучшая часть русского народа уже 100 лет назад боролась за свое освобождение и лучшее будущее, способствуя борьбе человечества.

Уже после получения корректур настоящей статьи, автору стали известны появившаяся в журнале «Новый мир» (1949, № 6, стр. 234—240) статья А. Лидина «Пушкин в Венгрии», а также статья О. Курило «Пушкин и венгерская литература»

¹ Об этом случае, действительно имевшем место в дни пушкинского юбилея в 1899 г., кстати сказать, проходившего на весьма низком культурном уровне и при полном равнодушии, если не явной враждебности со стороны царского чиновничества, сообщено было в петербургской газете «Сын Отечества» 1899, № 158. По словам газеты служащим «одной железной дороги запрещено было начальством службы тяги принимать участие в пушкинских торжествах, на том основании, что, — как говорилось в этом удивительном приказе, — Пушкин никогда по министерству путей сообщения не служил». См. П. Н. Берков, Из материалов пушкинского юбилея 1899 года, «Временник» Пушкинской комиссии, кн. 3, Л., 1937, стр. 409.

² A d y É n d r e «P u s k i n», Debrecen 1899. Jul. 12 № 137 A d y E n d r e; R o v i d d a l o k e g y r ő i m á s o l, o s s z e g y ű j t e t t e F o l d e s s y G y u l a B u d a p e s t. 1923, 19 o.

³ Роза Люксембург, статьи о литературе «Душа русской литературы», изд. Academia, 1934, стр. 102—103.

(газета «Советское Закарпатье» Ужгород, 1949, № 130, стр. 4). Эти статьи не совпадают с нашей работой ни по выводам, ни по материалу, а с другой стороны, как нам кажется, заключают в себе ряд ошибочных утверждений. Так, О. Курило в цитированной статье утверждает, например, что «критические статьи и обзоры о Пушкине, которых написано около 80, все шире раскрывают перед венгерской общественностью всю сущность, величие и идейную направленность мысли и творчества гения русского народа». Далеко не все эти статьи способствовали правильному пониманию Пушкина венгерскими читателями; среди них было не мало и таких, которые искажали творческий облик Пушкина, представляя его лишь «певцом любви» (совершенно так же официальное венгерское литературоведение фальсифицировало революционное творчество Петёфи). К числу указанных фальсификаторов Пушкина принадлежит, например, и называемый в статье О. Курило Лайош Гатвани, выходец из известной семьи баронов Гатвани. Курило цитирует стихотворение Гатвани «При чтении Онегина» (1903) и утверждает, что «влияние и воздействие Пушкина глубоко отразилось на творчестве Гатвани». На самом деле Гатвани говорил только о стилистических красотах пушкинской поэзии и не пошел дальше. В числе «двадцати венгерских журналов», поместивших в 1937 г. обширные статьи о Пушкине, о которых упоминает О. Курило, было не мало и таких, которые пытались клеветать на СССР и русский народ. Следовало выделить среди них (правда, называемый в указанной статье) прогрессивный венгерский журнал «Корунк», где статья о Пушкине Миклоша Ковача заканчивалась утверждением, что «Пушкин всю жизнь идет в ногу с передовой мыслью. Поэт верил, что «оковы тяжкие падут» с русского народа. Не следует забывать, что борьба за правильное понимание великого русского поэта была частью идеологической борьбы в Венгрии в то время.

А. Лидин в своей статье также уделил мало внимания вопросам идейной борьбы, развернувшейся вокруг Пушкина и в 1937 г. и в более ранние годы. Не стоило бы, по нашему мнению, цитировать формалистические утверждения Аладар Комлоша о причинах популярности Пушкина в Венгрии в 60-е годы XIX в. А. Лидин, вообще говоря, ссылается на весьма второстепенных и не имевших значения для венгерской литературной мысли критиков. Нужно ли было, например, цитировать высказывания о значении освободительных и патриотических идей Пушкина незначительного современного венгерского писателя Геза Хегедюш, автора ряда космополитических и путанных «научно-популярных» компиляций?

Проф. П. Н. Берков

ПУШКИН И ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

I. Посещения Пушкиным Университета

«Ломоносов был великий человек, — писал Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург», — между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Статья, условно обозначаемая издателями, «Путешествие из Москвы в Петербург», писалась Пушкиным в 1833—1835 гг. Как раз около этого времени великий поэт посетил Московский и Петербургский университеты, и можно не сомневаться, что, говоря о Ломоносове как первом нашем университете, Пушкин в это понятие вносил впечатления, полученные при посещении двух крупнейших русских высших учебных заведений.

27 сентября 1832 г. Пушкин присутствовал в Московском университете на лекциях профессоров И. И. Давыдова и М. Т. Каченовского. Позднее И. А. Гончаров, бывший в то время слушателем словесного отделения философского факультета, в статье «Из студенческих воспоминаний» передал некоторые подробности этого посещения Пушкиным Московского университета.¹ Кроме этого посещения, в Московском университете Пушкин не бывал ни разу.

Чаще, по свидетельствам современников, посещал Пушкин Петербургский университет. Широко известно, что в октябре 1834 г. Пушкин, вместе с Жуковским, прослушал лекцию Гоголя, преподававшего в то время в Петербургском университете историю средних веков; гораздо меньше отмечается, что поэт был также на лекции своего приятеля, профессора русской литературы П. А. Плетнева.

Если доверять мемуаристам, то окажется, что посещений Пушкиным Петербургского университета было больше, чем два.

Через несколько лет после смерти Гоголя, проф. В. В. Григорьев, касаясь первой лекции автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки», писал так: «Весь университет восхищался «Вечерами на хуторе» и с любопытством ожидал появления на кафедре пасечника Рудого Панька. На первую лекцию навалили к нему в аудиторию все факультеты. Из посторонних посетителей явились и Пушкин и, кажется, Жуковский. Сконфузился наш пасечник, читал плохо и произвел весьма невыгодный

¹ Вестник Европы, 1887, апрель, стр. 502.

для себя эффект. Этого впечатления не поправил он и на следующих лекциях. . . »¹

Таким образом, согласно воспоминаниям Григорьева, первое посещение Пушкиным Петербургского университета состоялось в день первой лекции Гоголя. Эти сведения, выраженные с большой степенью определенности («Из посторонних посетителей явились и Пушкин и, *кажется*, Жуковский»), не могут, однако, быть полностью приняты на веру и прежде всего потому, что В. В. Григорьев едва ли мог быть свидетелем сообщенного им факта: он окончил университет в 1834 г., а первые лекции Гоголя состоялись в сентябре того же года, в то время, когда Григорьев, по его собственным словам, «принят был в конце того же года в Институт восточных языков для приготовления к дальнейшей службе по дипломатической части».²

Показание проф. Григорьева не может рассматриваться как свидетельство очевидца и представляет, повидимому, рассказ с чьих-то слов. Этим и объясняется то, что ни одним из остальных мемуаристов, сообщавших о лекции Гоголя, прочтенной в присутствии Пушкина, не подтверждается то, что посещение поэтом университета состоялось во время первой лекции Гоголя, то есть в сентябре 1834 г.

Иначе освещают этот факт воспоминания действительного слушателя Гоголя, Н. И. Иваницкого, находившегося тогда на втором курсе. Иваницкий, поступивший в университет 5 сентября 1833 г., подробно описывая первую лекцию Гоголя в сентябре 1834 г., не подтверждает сообщения В. В. Григорьева о том, что на открытии курса Гоголя было много народа и в том числе и Пушкин.

Что же касается лекции Гоголя, которую посетили Пушкин и Жуковский, то о ней Иваницкий, рассказав, о том, как падал интерес к курсу, читавшемуся Гоголем, писал следующее: «Мы совершенно, наконец, охладели к Гоголю, и аудитория его все больше и больше вустела. Но вот однажды — это было в октябре, — ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уже знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь. Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы, вслед за тремя поэтами, вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь взошел на кафедру и, как говорится, ни с того, ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесах». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому готовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только: «увлекательно!» Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны. . . »³

Существует еще одно свидетельство о посещении Пушкиным лекции Гоголя. Оно принадлежит С. И. Барановскому, также поступив-

¹ В. В. Григорьев. Т. Н. Грановский и его профессорство в Москве, Русская беседа, 1856, т. III, Смесь, стр. 24—25.

² В. В. Григорьев. Императорский С.-Петербургский университет за первые пятьдесят лет его существования, СПб., 1869, стр. 379.

³ Н. И. Иваницкий. Выправка некоторых биографических известий о Гоголе. Отечественные записки, 1853, февраль, отд. VIII, стр. 120—121; он же, Автобиография, Шукшинский сборник, М., 1909, вып. VIII, стр. 374; Н. М. Колмаков. Очерки и воспоминания 1816 года, «Русская старина», 1891, № 5, стр. 460.

шему в Петербургский университет в 1833 г.; в письме к Я. К. Гроту он излагал дело так: «Присутствуя на Пушкинском торжестве в Москве, живо вспоминаю тот случай, когда мне довелось видеть знаменитого Александра Сергеевича. Это было на одной из лекций Гоголя, который недолгое время был профессором Всеобщей истории во втором курсе С.-Петербургского университета... О его профессорстве слышны были спорные мнения, и как бы для того, чтоб их проверить, В. А. Жуковский и А. С. Пушкин решили неожиданно побывать на его лекции. Зная день и час, они оба вместе пришли послушать лекцию Н. В. Гоголя. Что их посещение было совершенно неожиданно для нашего профессора, ясно выразилось в том, что обоим знаменитым посетителям пришлось вместе с нами студентами прождать с полчаса времени: лекции в то время продолжались по уставу полтора часа; Гоголь находил это время слишком долгим, утомительным и только на своей первой лекции проговорил во все положенное время; потом он сокращал продолжительность своих лекций, и для того, чтоб не прерывать лекций слишком рано, он обыкновенно опаздывал приходом на полчаса, иногда и на три четверти часа. Таким образом Жуковский и Пушкин провели несколько времени в беседе со студентами, ожидавшими своего профессора, который тогда произнес одну из лучших своих лекций, художественно охарактеризовав норманских витязей, завоевателей Сицилии, заселителей Исландии, грозных на морях и Черном и Каспийском, на берегах и Франции, и Англии».¹

Как видно, данные Иваницкого и Барановского совпадают почти полностью, за исключением двух пунктов: содержания лекции (по Иваницкому — история аравитян,² по Барановскому — характеристика норманских витязей) и степени подготовленности Гоголя к этой лекции.

Кроме воспоминаний непосредственных слушателей Гоголя, сведения о чтении им лекций и о посещении этих лекций Пушкиным мы находим в одной из статей В. П. Гаевского, посвященной университетской деятельности автора «Мертвых душ». «Какого мнения о своих лекциях был сам Гоголь, — писал Гаевский, — не знаем, но вот факт, доказывающий, что он не слишком доверял себе в этом отношении. Говорят, что Гоголь просил Пушкина и Жуковского приехать как-нибудь к нему на лекцию. Оба поэта, очень долго собиравшиеся воспользоваться приглашением, явились в университет. Поэты нашли полную аудиторию студентов, но Гоголя еще не было; они решили его дожидаться, но прождали напрасно, потому что Гоголь вовсе не явился».³

Из приведенной цитаты явствует, что Гаевский, как и В. В. Григорьев, передает факт известной ему не непосредственно, а из вторых или третьих рук. Между тем В. И. Шенрок, автор «Материалов для биографии Гоголя», приведя сведения В. П. Гаевского, писал: «Следовательно, Жуковский и Пушкин дважды приезжали в университет для слушания Гоголя».⁴

Можно, однако, усумниться в правильности предположения В. И.

¹ Из писем к Я. К. Гроту. — Русский архив, 1906, т. II, стр. 278; ср. «Гоголь-профессор» (Из неопубл. записок А. С. Андреева) — «Сегодня», 1927, № 1, стр. 164.

² Повторяет это указание Н. И. Иваницкий в «Автобиографии», Шукинский сборник. М., 1909, вып. VIII, стр. 248.

³ В. П. Гаевский. Заметки для биографии Гоголя. «Современник», 1852, № 10, Смесь, стр. 145. Насколько не отвечают действительности сведения Гаевского о пропуске Гоголем лекции, можно видеть по материалам, приведенным в статье Н. И. Мордовченко «Гоголь в Петербургском университете» (Ученые записки ЛГУ, 1939, № 46, стр. 358—359).

⁴ В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя, М., 1893, ч. II, стр. 383.

Шенрока. Как ни противоречивы материалы Григорьева, Иваницкого, Барановского и Гаевского, несомненно все же, что речь идет об одном только посещении Пушкиным и Жуковским лекции Гоголя. Повидимому, наиболее близкими к действительности являются версии Н. И. Иваницкого и С. И. Барановского, о которых достоверно известно, что они были студентами Петербургского университета в 1834 г.: прошения их о принятии в число студентов, датированные в 1833 г., находятся в архиве Ленинградского университета. Странно только, что фамилии их отсутствуют в списке окончивших Петербургский университет в книге В. В. Григорьева.

Таким образом можно считать, что на лекции Гоголя Пушкин был только один раз и не ранее октября 1834 г.¹

Второе посещение Пушкиным нашего университета относится к концу 1836 или самому началу 1837 г. Сведения об этом эпизоде мы находим в «Воспоминаниях из дальних лет» Е. М-на, помещенные в «Русской старине» (1881).

«Особый эпизод в студенческой нашей жизни, — пишет мемуарист, — было посещение Пушкина, приглашенного профессором Плетневым на одну из его очаровательных лекций. Помнится, в каком воодушевленном состоянии поднялся Плетнев на кафедру, и как в то же время в дверях аудитории показалась фигура любимого поэта с его курчавой головой, огненными глазами и желтоватым нервным ликом, — шопот пробежал по всем скамейкам собравшейся в непомерном числе молодежи; Пушкин сел с каким-то другим господином из литераторов на одну из задних скамей и внимательно прослушал лекцию, не обращая внимание на беспрестанное осматривание его обращенными назад взорами сидевших впереди его студентов, для которых лекция эта очевидно пропала и с напряженным вниманием выслушано было только одно место, где даровитый профессор, читавший о древней русской литературе, вскользь упомянул о будущности ее и при сем имя Пушкина прошло через уста его; возбуждение было сильное и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя. Это было уже в конце урочного часа, и Пушкин, как бы предчувствуя, что молодежь не удержится от взрыва, скромно удалился из аудитории, ожидая окончания лекции в общей проходной зале, куда и вскоре вышел к нему Плетнев, и они вместе уехали. Это было незадолго до смерти Пушкина...»²

Криptonим «Е. М-н» принадлежал Е. А. Матисену,³ лицу совершенно неизвестному, о котором никаких сведений не сохранил и архив Ленинградского университета. Между тем его «Воспоминания из дальних лет с 1824 года» представляют существенный интерес, и нам еще придется в настоящей статье вернуться к ним.

II. Петербургский университет и похороны Пушкина

Сведения о дуэли Пушкина быстро распространились по Петербургу. Упомянувшийся выше Е. А. Матисен утверждал даже, что ему

¹ Н. О. Лернер не уточняет время посещения Пушкиным Петербургского университета и относит этот эпизод к октябрю 1834 г. («Груды и дни Пушкина», изд. 2, стр. 321). Л. Б. Модзалевский, не приводя доказательств, счел возможным отнести посещение Пушкиным лекции Гоголя ко второй половине 1834 г. Л. Б. Модзалевский. Главнейшие хронологические даты жизни и творчества Пушкина в 1834 году — в книге: «Пушкин 1834 год», Л., 1934, стр. 150.

² Е. М-н. Воспоминания из дальних лет с 1824 г. «Русская старина», 1861, стр. 158.

³ И. Ф. Масанов. Словарь русских псевдонимов, М., 1936, т. I, стр. 465; С. Р. Минцлов. Обзор записок и т. д. Новгород, 1912, вып. II и III, стр. 68; С. А. Венгерова. Критико-биографический словарь, изд. 2, Пгр., 1918, т. II, стр. 92.

пришлось услышать об этом в тот же день¹ во время похорон студента Н. Греча, сына известного Н. И. Греча. По словам Матисена, похоронная процессия двинулась по Невскому проспекту в пятом часу, и «уже близь Волкова кладбища... вдруг в среде толпы разнесся шопотом проносимый слух, что Пушкин ранен на дуэли; все встревожились: знавшие поэта лично, в том числе и Греч, засуетились, и кто-то из них, перекрестившись к гробу, удалился от похорон, чтобы ехать к Певческому мосту узнать о том, правда ли и какие подробности».²

Если предположить, что процессия, вышедшая из дома Греча (ныне Мойка, 92) в пятом часу, приблизилась к Волкову кладбищу через час-полтора, тогда выходит, что сведения о дуэли Пушкина проникли в публику чуть ли не через час после того, как поэт стрелялся. А это едва ли так, и следовательно Матисену память изменила.

Гораздо больше заслуживает доверия дальнейшие его воспоминания: «Только на другой день (т. е. 28 января), по пришествии в университет, подтвердилось известие о дуэли, с добавлением уже, что Пушкин ранен смертельно в живот, что пуля не вынута и что он остаться в живых не может. Роковая весть о кончине пришла на другой же день, при окончании лекций, в 4-м часу. Многие студенты сговорились итти вместе на похороны Пушкина».³

Между тем у министра народного просвещения, С. С. Уварова, старого недруга Пушкина, возникли страхи, что в связи с похоронами поэта, студенты могут организовать демонстрацию, и поэтому им было послано в университет распоряжение, запрещающее участие профессоров и студентов в похоронах.

Проф. А. В. Никитенко записал в своем дневнике 1 февраля 1837 г.: «В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр, и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему. Попечитель мне сказал, что студентам лучше не быть на похоронах, они могли бы собраться в корпорации, нести гроб Пушкина, и могли бы «пересолить», как он выразился».⁴

Несмотря на столь строгое предписание, студенты все же отправились на похороны поэта. Сведения об этом сохранил тот же Е. А. Матисен. Он писал, что студенты не знали, откуда будет похороны, и только из официальных печатных приглашений им стало известно, что отпевание будет в Конюшенной церкви, тогда как раньше предполагали, что тело будут выносить из Адмиралтейской церкви. «Толпами мы бросились сперва к Адмиралтейской, потом к Конюшенной площади, но здесь трудно было протолкаться через полицию, и только некоторые, счастливы получили доступ в церковь; в числе их меня не было, и я оставался с другими на площади и был очевидцем того, как на вопрос проходящего, кого хоронят, жандарм ничего не ответил, будочник, — что не может знать, а кварталный надзиратель: камер-юнкера Пушкина!

¹ В «Автобиографии» Н. И. Иваницкого говорится, что Н. И. Греча хоронили 28 января 1837 г. (Пушкин и его современники, вып. XIII, стр. 31; Русский архив, 1909, № 10, стр. 135.)

² «Русская старина», 1881, май, стр. 159.

³ Там же, стр. 159.

⁴ Записки и дневник, изд. 2-е СПб., 1905, т. I, стр. 285.

Этот камер-юнкер засел мне глубоко в памяти и повторился в приказе о противнике поэта на кровавой площадке за Черную речкою, бароне Гекерне-Дантесе, о котором напечатано было в газетах, что он за убийство на дуэли камер-юнкера Пушкина разжалован в рядовые. Долго ждали мы окончания церковной службы; наконец на паперти начали появляться выходящие из церкви лица в полной мундирной форме; военных было не много, но большое число придворных, вероятно по случаю того же камер-юнкерства; в черных фраках были только лакеи, следовавшие перед гробом, красным с золотым позументом, регалий и воспоминаний из жизни поэта никаких; не помню, лежала ли на гробе камер-юнкерская шляпа, но помню, что гроб вынесен был на улицу посреди пестрой толпы мундиров и салопов, что мало соответствовало тому чувству, которое в этот момент наполняло наши юношеские души. При том все это мелькнуло перед нами только на один миг. С улицы гроб тотчас же внесен был в расположенные рядом с церковью ворота в Конюшенный двор, где находился заупокойный подвал, для принятия тела до его отправления в Псковскую губернию, на кладбище Святогорского монастыря. Живо помню, как взоры наши следили в глубину ворот за гробом, пока он не исчез — вот все, чем ознаменовалось участие молодежи в погребении русской гражданской славы!»¹

Должно быть, некоторую часть студентов университетскому начальству удалось все-таки удержать на лекциях. По крайней мере А. В. Никитенко, присутствовавший на отпевании поэта в Конюшенной церкви, в той же дневниковой записи от 1 февраля 1837 г. писал: «Церемония кончилась в половине первого. Я поехал на лекцию. Но, вместо очередной лекции, я читал студентам о заслугах Пушкина. Будь что будет!»²

Если принять во внимание, какие строгости были предприняты правительством Николая I и в особенности министром народного просвещения Уваровым для подавления общественного негодования по поводу убийства поэта, поступок обычно столь осторожного Никитенко приобретает особенное значение.

К сожалению, ни в мемуарной литературе, ни в официальных документах нет подтверждения этого факта, хотя трудно допустить, что лекция эта не вызвала нареканий со стороны начальства, крайне недоброжелательно относившегося к памяти великого поэта.

Не сохранилось также сведений, что именно говорил Никитенко в своей лекции о Пушкине. Жаль! Это была первая лекция о Пушкине в русском университете.

III. Пушкин в учебной жизни Петербургского университета в дореволюционное время

Введенное в 1835 г. преподавание в университете истории русской литературы не коснулось литературы XIX в. Только в 90-х годах прошлого столетия профессор Петербургского университета А. И. Незеленов и Московского А. И. Кирпичников начали включать в свои общие курсы истории русской литературы материалы по литературе XIX в., встречая при этом большое неодобрение со стороны «жрецов чистой науки»; последние считали, что настоящей историей литературы является та, которая изучает русскую литературу древнего периода. Характерно, что пер-

¹ «Русская старина», 1881, май, стр. 160.

² Записки и дневник, т. I, стр. 285.

вые печатные курсы даже по истории русской литературы XVIII в. появляются только после 1910 г. Печатных же университетских учебников по литературе XIX в. в дореволюционное время не было вовсе.

Впрочем, в качестве первого опыта университетского учебника по русской литературе XIX в. можно указать «Сжатый обзор истории новой русской литературы» профессора Дерптского (ныне Тартуского) университета П. А. Висковатова (Дерпт, 1892). Пушкину здесь уделено очень немного места (стр. 32—40), значительная часть которого занята библиографическими примечаниями.

Этот же П. А. Висковатов был первым лицом, прочитавшим на правах приват-доцента в Петербургском университете специальный курс о Пушкине и его эпохе.¹ Это было в 1895 г.² До Висковатова подобный курс читал профессор, позднее академик, И. Н. Жданов в Петербургском историко-филологическом институте, начиная с 1890—1891 учебного года. Существуют литографированные курсы этих лекций.³ В 1898—1899 г. И. Н. Жданов читал этот специальный курс в Петербургском университете под названием «Обозрение литературной деятельности А. С. Пушкина».⁴

Лишь после курсов И. Н. Жданова и П. А. Висковатова стали другие университеты вводить у себя специальные курсы по Пушкину. Так, в 1895—1896 г. проф. Е. Ф. Будде объявил «специальный курс русской литературы: Пушкин» в Казанском университете,⁵ а в 1898—1899 г. приват-доцент А. М. Лобода читал курс «Пушкин. Характер его деятельности и значение последней в истории русской литературы» в Киевском университете.⁶

В Московском университете специальный курс о Пушкине был прочтен впервые проф. А. И. Кирпичниковым тоже в 1898—1899 г.⁷

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что освещение поэтической деятельности Пушкина в общенациональной перспективе стало возможным и приобрело устойчивый характер только на рубеже XIX и XX вв. Эти же данные позволяют установить приоритет нашего университета в постановке научно-педагогического изучения наследия Пушкина в высших учебных заведениях.

В нашем же университете впервые введены были специальные семинары по изучению Пушкина. Попутно следует отметить, что семинарские занятия по истории новой русской литературы также были впервые введены в нашем университете во второй половине 90-х годов прошлого века, когда приват-доцент А. К. Бороздин стал преподавать на

¹ Обзорение преподавания наук в С.-Петербургском университете на осеннее и весеннее полугодия 1895/1896 г., СПб., 1895, стр. 24 (Приват-доцент П. А. Висковатов. История русской литературы: писатели Пушкинского периода, 2 часа в неделю).

² Аналогичный курс был повторен Висковатовым в 1896—1897 гг., см. Обзорение преподавания наук в С.-Петербургском университете на осеннее и весеннее полугодия 1896/1897 г., СПб., 1896, стр. 25.

³ И. Н. Жданов. Пушкин, Лекции, 1890/91 г., Литогр. Руднева, СПб., (1891), 236 стр.; Обзорение литературной деятельности А. С. Пушкина, СПб., (1892), 116 стр.

⁴ Обзорение преподавания наук в С.-Петербургском университете на осеннее и весеннее полугодия 1898/1899 г., СПб., 1898, стр. 25.

⁵ Казанский университет, Обзорение преподавания в 1895/96 уч. году, Казань, 1895, стр. 7.

⁶ Обзорение преподавания в Университете св. Владимира на 1898/99 уч. год с приложением расписания лекций по историко-филологическому факультету, Киев, 1898, стр. 5—6.

⁷ См. его статью «Об изучении пушкинского периода русской литературы» в «Пушкинском сборнике» Московского университета (М., 1900, стр. 3).

филологическом факультете.¹ В руководимом им «семинарии по новой русской литературе» значительное количество тем посвящалось Пушкину. Однако специальный «пушкинский семинарий» в нашем университете был организован только в 1908 г.²

В официальных «Обозрениях преподавания наук на историко-филологическом факультете Петербургского-Петроградского университета» пушкинский семинарий С. А. Венгерова значился как «Просеминарий: Пушкин и его время (Жизнь, творчество, история текста). 2 часа, по четвергам». Последнее подобное указание находится в «Обозрении преподавания наук на историко-филологическом факультете Петроградского университета в осеннем полугодии 1918 года и в весеннем полугодии 1919 года» (Пгр; 1918, стр. 12).

В научной литературе существует не мало сведений о Пушкинском семинарии С. А. Венгерова³ и оценок его деятельности.⁴

Вот как характеризует заслуги Венгерова в этой области чл.-корр. АН СССР проф. Н. К. Пиксанов: «Необходимо отметить одну крупную работу, проведенную Венгеровым в университете и принесшую обильные плоды — Пушкинский семинар. Через него прошли многие молодые пушкинисты и литературоведы, он имел свой печатный орган («Пушкинист», три выпуска, 1914, 1916 и 1918; четвертый уже посвящен памяти руководителя). Надо сказать, что многим молодым литературоведам Венгеров поручал статьи и в своем известном издании Пушкина и в энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона».⁵ К сказанному Н. К. Пиксановым следует прибавить еще, что одним из важных начинаний Пушкинского семинария С. А. Венгерова было создание «словаря поэтического языка Пушкина», к сожалению, не доведенное до конца.⁶

Пионером оказался наш университет и в области постановки пушкинских тем для медальных сочинений студентов. Так, в юбилейном 1887 г. историко-филологический факультет объявил несколько «тем медальных сочинений», посвященных Пушкину,⁷ которые вызвали инте-

¹ Н. К. Пиксанов. Русское литературоведение в Петербургском-Ленинградском университете, Труды юбилейной научной сессии ЛГУ, Секция филологических наук, Л., 1946, стр. 13.

² В «Автобиографии С. А. Венгерова» (П., 1920) ошибочно указано, что «в 1898 г. Венгеров основал в Петроградском университете для студентов-филологов Пушкинский семинарий» (стр. 7—8). Эта же ошибка повторена в статье Л. К. Ильинского «С. А. Венгеров» (Известия II Отделения Российской Академии Наук, 1923, т. XXVIII, стр. 109). Между тем, в другом месте приведены точные даты возникновения пушкинского семинария — январь 1908 г. (Пушкинист; Историко-литературный сборник, 1, СПб., 1914, стр. VII и 207).

³ «Пушкинист». Историко-литературный сборник под ред. проф. С. А. Венгерова, вып. I, СПб., 1914, стр. VII—XX, 207—239; вып. II, Пгр., 1916, стр. 287—292; Н. В. Яковлев. Пушкинский сборник памяти профессора Семена Афанасьевича Венгерова, М.—П., 1923, стр. VIII—IX.

⁴ А. Г. Фомин. С. А. Венгеров как профессор и руководитель пушкинского семинария, Пушкинский сборник памяти профессора Семена Афанасьевича Венгерова, М.—П., 1923, стр. XIII—XXXIII; Л. К. Ильинский. С. А. Венгеров, Известия II Отделения РАН, 1923, т. XXVIII, стр. 109—113; Н. К. Пиксанов. Русское литературоведение в Петербургском-Ленинградском университете. Труды юбилейной научной сессии ЛГУ, Секция филологических наук, Л., 1946, стр. 13—14.

⁵ Н. К. Пиксанов. Русское литературоведение в Петербургском-Ленинградском университете, Труды Юбилейной научной сессии ЛГУ, Секция филологических наук, Л., 1946, стр. 13—14.

⁶ Пушкинский семинарий при СПб. университете, под руководством С. А. Венгерова, вып. I. Программа составления словаря поэтического языка Пушкина, СПб., 1911, 8 стр.

⁷ Годичный акт С.-Петербургского университета 8 февраля 1887 г., СПб., 1887, стр. 160—161.

рес студенчества. Поэтому в следующем году в «Записке о наградах студентов С.-Петербургского университета медалями в 1888 г. и о вновь предложенных задачах для соискания наград медалями в 1889 г. сообщались уже результаты конкурса.¹

Темы, предложенные студентам в качестве «задач», были следующие: 1) «Изучить отношения к Пушкину как современной ему, так и позднейшей критики до самого времени открытия ему памятника в Москве»; 2) «А. С. Пушкин. Отношение его к предшественникам, народной России, народной поэзии и народной истории».

На первую тему было представлено два сочинения — Сергея Трубачева и неназванного автора, на вторую только одно — Степана Переселенкова. Работа Трубачева, позднее напечатанная и вызвавшая много критических отзывов,² была удостоена золотой медали,³ сочинение С. А. Переселенкова было награждено серебряной медалью.⁴

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что фамилия второго студента, представившего медальное сочинение на первую тему, не названо. Между тем во всех аналогичных случаях имена ненагражденных авторов указываются. Повидимому, это был один из студентов — участников покушения на Александра III 1 марта 1887 г., во главе которого стоял А. И. Ульянов, брат В. И. Ленина; члены этой организации были, как известно, арестованы и вскоре повешены. Только этим можно объяснить отсутствие фамилии второго сочинения в официальном «Отчете».

Отметим, что С. С. Трубачев в дальнейшем мало принимал участия в научной жизни, и сведений о нем почти не сохранилось. Студент же, чье сочинение было награждено серебряной медалью, С. А. Переселенков (1869—1942) — позднее преподаватель литературы и архивист, литературовед, написавший несколько статей о Пушкине; в течение многих лет он работал в Институте литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР. Его «медальное сочинение» не было напечатано. В «Отчете» отмечалось, что сочинение Переселенкова не закончено. рассмотрение материала доведено было автором только до 1826 г. «Самая сильная сторона сочинения, — указывалось в «Отчете», — анализ отношений Пушкина к общественной жизни, к окружавшей поэта среде».⁵

К сожалению, в «Отчете» не указано, кем из преподавателей историко-филологического факультета давались отзывы о сочинениях С. С. Трубачева и С. А. Переселенкова; поэтому трудно сейчас, при отсутствии самой работы Переселенкова, судить, с каких позиций освещалось автором «отношение Пушкина к общественной жизни, к окружавшей поэта среде». Показательно все же общее направление данной работы студента. Следует отметить, что в то время в Петербургском университете определилось два направления в трактовке Пушкина —

¹ Отчет о состоянии С.-Петербургского университета за 1887 г., СПб., 1883, стр. 101—106.

² С. С. Трубачев. Пушкин в русской критике, 1820—1880, СПб., 1889, XI, 404 стр. Отзывы: а) Отчет о состоянии С.-Петербургского университета за 1887 г., СПб., 1888, стр. 101—104; б) К. Н. Бестужев-Рюмин. Журнал Министерства народного просвещения, 1889, № 5, отд. II, стр. 195—204; в) П. П. [П. Н. Полевой]. «Исторический вестник», 1889, № 3, стр. 756—758; г) «Наблюдатель», 1889, № 5, отд. II, стр. 24—26; д) «Педагогический сборник», 1889, № 9, стр. 188—192; е) «Русский вестник», 1889, № 4, стр. 290—293; ж) «Север», 1889, 5 марта, № 10, стр. 199; з) «Северный вестник», 1889, № 3, отд. II, стр. 87—90.

³ Отчет о состоянии С.-Петербургского университета за 1887 г., СПб., 1888, стр. 101.

⁴ Там же, стр. 104.

⁵ Там же, стр. 105.

«официально-благонамеренное», возглавлявшееся проф. А. И. Незеленовым и «либеральное», представленное именами проф. О. Ф. Миллера и приват-доцента П. О. Морозова. Эти два направления проявились в том же году во время торжественных чествований Пушкина в университете, о чем будет сказано несколько ниже; отразились эти два направления и в формулировке тем для студенческих медальных сочинений и в оценке представленных работ.

Насколько удалось проследить по официальным отчетам о состоянии Петербургского университета за дальнейшие годы, лишь в 1899 г. вновь была предложена пушкинская тема в качестве «задачи медального сочинения». Звучала эта тема так: «Пушкин как литературный критик». На эту тему были представлены два сочинения — студентом Владимиром Гиппиусом¹ и студентом Анатолием Купаловым.

IV. Чествование памяти Пушкина в Петербургском университете в 1887 и 1899 гг.

Первое более или менее широкое юбилейное чествование памяти Пушкина русским обществом, если не считать открытия памятника поэту в 1880 г., происходило в 1887 г. Однако оно не приобрело сколько-нибудь значительного характера. В обильных газетных и журнальных откликах на юбилей 1887 г. чувствуется, что царское правительство и монархически настроенные круги тогдашнего общества старались придать этому событию особый оттенок и что это в свою очередь определяло сдержанное отношение прогрессивной части общества к юбилею. «Чествование прошло более, чем скромно», вспоминал через несколько лет один из свидетелей пушкинского юбилея 1887 г.² и объяснял это стилизацией Пушкина «под монархиста», проводившейся реакционными кругами.

«Много было сказано тогда обидных похвал Пушкину за «благоразумие», с которым он будто бы отрекся от юношеских «увлечений», — писал Ветринский. — Но в те дни звучали и еще более странные речи. Так, профессор Московского университета г. Иванцов-Платонов в речи своей счел нужным предостеречь слушателей, собравшихся на панихиду, «от поклонения кумирам, в которое русское общество превращает Пушкина все более и более».³

На фоне этих фактов следует воспринимать пушкинские дни в Петербургском университете в 1887 г.⁴

29 января 1887 г. в университете состоялся вечер, посвященный памяти Пушкина. С речью о поэте выступил проф. А. И. Незеленов, человек достаточно умеренных политических взглядов. В своем слове о Пушкине А. И. Незеленов шел по пути, указанному официальными инстанциями, министерством народного просвещения и реакционной монархической печатью, истолковывавшими деятельность поэта в духе обновленной уваровской триады, «самодержавия, православия и народ-

¹ «Памяти А. С. Пушкина», Сборник статей преподавателей и слушателей историко-филологического факультета С.-Петербургского университета, СПб., 1900, стр. 227—328.

² Ч. Ветринский (Чешихин, В. Е.). Двенадцать лет назад. Пушкинские дни 1887 г. в Петербурге, Нижегородский листок, 1899, 31 января, № 30, стр. 2.

³ Там же, стр. 2—3.

⁴ «Новое время», 1887, 30 января, № 3923 (Хроника); «Новости» и «Биржевая газета», 1887, 30 января, № 29 (Панихиды и чтения); там же, 1887, 9 февраля, № 39 (68 годовщина С.-Петербургского университета); «С.-Петербургские ведомости», 1887, 30 января, № 30 (29 января в Университете).

ности». Именно эта тенденция речи Незеленова была отмечена в цитированной выше статье Ч. Ветринского: «В этом же тоне, — писал он, — произнес речь в Петербургском университете профессор Незеленов, в холодных вымученных фразах превозносивший «истинно русские чувства и взгляды» поэта, за что и был награжден жиденькими официальными апплодисментами».¹

В самом деле, «Речь о Пушкине» А. И. Незеленова представляет документ очень характерный. Начав свое выступление с признания того, что «как поэт-художник Пушкин не имеет себе соперников», что «изящнее, прекраснее его созданий нет ни у кого ни в одной литературе мира», Незеленов характеризует Пушкина только как «поэта красоты, художника по преимуществу».²

Не останавливаясь на вольнолюбивых, антимонархических произведениях Пушкина, Незеленов зато подробно говорит о том, что «религиозное чувство жило в нем с давних пор и все усиливалось с годами».³ Отметая жизнеутверждающие, оптимистические мотивы творчества Пушкина, Незеленов настойчиво выдвигает тезис о том, что «в душе его в последнюю эпоху его деятельности развивалось, отражаясь и в творчестве, чувство глубокой тоски».⁴

В таком духе выдержана вся эта «Речь о Пушкине». Несколько иной характер имела произнесенная на ежегодном университетском акте 8 февраля 1887 г. речь приват-доцента П. О. Морозова «Пушкин в русской критике»,⁵ целью которой было поставить изучение исторического значения Пушкина в рамки научного исследования. Эта небольшая речь выросла из подготовительной работы П. О. Морозова по изданию «Полного собрания сочинений» Пушкина, предпринятому им по поручению Литературного фонда; издание это, как известно, составило эпоху в пушкиноведении и долго сохраняло свое научное значение.⁶ В процессе подготовки этого издания Морозов изучил критические отзывы о Пушкине и итоги своих исследований изложил в актовой речи. Однако специфические условия торжественного заседания не позволили Морозову представить полностью собранные материалы, и он сделал это более обстоятельно в статье «Пушкин в русской литературе», помещенной в демократическом журнале «Дело».⁷

Если так официально-холодно прошел Пушкинский юбилей в университете, то с гораздо большей теплотой и политической остротой был он отпразднован в студенческом Научно-литературном обществе при Петербургском университете. Как известно, секретарем этого общества незадолго до этого времени был А. И. Ульянов, среди членов находилось несколько участников дела 1 марта 1887 г. Заседание, посвященное памяти Пушкина, было, повидимому, последним или, по крайней мере, одним из последних, на которых присутствовали товарищи А. И. Улья-

¹ «Нижегородский листок», 1899, 30 января, № 30, стр. 2.

² Годичный акт С.-Петербургского университета 8 февраля 1887 года, СПб., 1887, стр. 123 (Речь о Пушкине, произнесенная А. И. Незеленовым в С.-Петербургском университете 29 января 1887 г.); «Речь о Пушкине» А. И. Незеленова была тогда же издана отдельно (СПб., 1887, 16 стр.), а затем вошла в его книгу «Шесть статей о Пушкине» (СПб., 1892, стр. 15—29).

³ Там же, стр. 124.

⁴ Там же.

⁵ Годичный акт С.-Петербургского университета 8 февраля 1887 г., СПб., 1887, стр. 111—121, и отдельно (СПб., 1887, 15 стр.).

⁶ О работе Морозова по изданию Пушкина см. Годичный акт С.-Петербургского университета 8 февраля 1887 г., стр. 44.

⁷ «Дело», 1887, № 1, стр. 83—94; № 2, стр. 83—101. См. также «Отчет о состоянии С.-Петербургского университета за 1887 г., СПб., 1888, стр. 44.

нова.¹ Председательствовал на этом заседании и произнес речь проф. О. Ф. Миллер. По воспоминаниям Ч. Ветринского, речь Миллера произвела на слушателей сильное впечатление.² Речь О. Ф. Миллера была тогда же напечатана под заглавием «Не торжество, а поминки».³

Несмотря на то, что Миллер был либералом с народническим оттенком и питал славянофильские симпатии, речь его была проникнута отрицательным отношением к официальному направлению пушкинского юбилея 1887 г. Именно поэтому она и имела успех у студентов, присутствовавших на заседании. По воспоминаниям Ч. Ветринского, вслед за речью Миллера было прочтено одним из неназванных им студентов, — очевидно, из числа позднее казненных за участие в покушении на Александра III, — стихотворение Лермонтова «Смерть поэта».

Так прошло первое чествование памяти Пушкина в Петербургском университете.

В 1899 г. празднование столетия со дня рождения поэта было отмечено Петербургским университетом еще скромнее. Прежде всего следует указать, что специального торжественного заседания памяти Пушкина Петербургский университет в 1899 г. не устроил. Лишь на годовичном акте 8 февраля 1900 г. профессор Петербургского университета, акад. И. Н. Жданов выступил с речью «Пушкин о Петре Великом»,⁴ как бы исправляя ошибку, допущенную университетом в предыдущем году.

В 1900 же году Петербургский университет выпустил упоминавшуюся выше книгу, озаглавленную: «Памяти А. С. Пушкина. Сборник статей преподавателей и слушателей Историко-филологического факультета С.-Петербургского университета» (СПб., 1900, 388 стр.). Здесь были помещены статьи профессоров Ф. Д. Батюшкова, С. К. Булича и И. Н. Жданова, студентов В. В. Гиппиуса, С. И. Поварнина, Н. Н. Трубицына и оставленного при университете Н. К. Козмина.

Этими убогими мероприятиями узко-академического порядка ограничилось участие Петербургского университета в юбилейных чествованиях Пушкина в 1899 г.

На совершенно иной принципиальной основе, гораздо шире и торжественнее прошли пушкинские празднества в нашем Университете в 1949 г.

Но «Пушкин в Ленинградском университете» — тема специального исследования, выходящая за рамки настоящей статьи.

¹ Сам А. И. Ульянов вышел из состава общества в конце 1886 г. См. статью Е. Г. Ольденбург. «Студенческое научно-литературное общество при С.-Петербургском университете», Вестник Ленингр. унив., 1947, № 2, стр. 153.

² «Нижегородский листок», 1899, 30 января, № 30, стр. 3; ср. также его статью «Из недавнего прошлого С.-Петербургского университета» (Из воспоминаний бывшего студента ко дню 8 февраля), «Новое слово», 1895, № 2, стр. 158—159.

³ О. Ф. Миллер. Не торжество, а поминки. (Речь, произнесенная в заседании Научно-литературного общества) «Новости» и «Биржевая газета», 1887, 29 января, № 28, стр. 1.

⁴ Годичный акт С.-Петербургского университета 8 февраля 1900 г., СПб., 1900., приложение, стр. 1—40.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Чл.-корр. АН СССР М. П. Алексеев

ПИСЬМО ПУШКИНА К ДЖОРДЖУ БОРРО

Среди книг библиотеки А. С. Пушкина, описанных Б. Л. Модзалевским, под № 666 значится книга Джорджа Борро, изданная в Петербурге, в 1835 г.: «Таргум, или стихотворные переводы с тридцати языков и наречий» (Targum, or metrical translations from thirty Languages and Dialects, By George Borrow, St. Petersburg, Printed by Schultz and Benezé, 1835).¹ Автором ее был известный впоследствии английский писатель и переводчик, Джордж Борро (1803—1881), около двух лет (между 1833 и 1835 г.) проживший в Петербурге.

Обстоятельства, приведшие Дж. Борро в Россию, были достаточно необычными. Он не имел отношения к часто встречавшимся в русских столицах в 20—30-х годах XIX в. английским туристам, к тем «залетным путешественникам» и «блестящим лондонским нахалам», которых Пушкин заклеймил в VIII главе «Евгения Онегина»; он не принадлежал ни к «высшему» английскому обществу, ни даже к кругам состоятельных людей, которые могли совершать путешествия ради собственного удовольствия. Сын бедного офицера, начавший самостоятельную трудовую жизнь в качестве клерка в одной из провинциальных адвокатских контор, Джордж Борро всячески старался пробить себе дорогу в литературу и журналистику, но на первых порах это ему плохо удавалось. На путешествие в Россию его толкнули нужда и случай. В эти годы Борро как писатель был еще мало известен у себя на родине; переводческая деятельность его только началась, а как поэт, мемуарист и автор нескольких романов Борро составил себе имя много лет после своего отъезда из Петербурга.

С ранних лет Борро отличался замечательными способностями к языкам; в юности он хорошо знал уже до двенадцати языков, древних и новых. Особо стоит отметить интерес Борро к цыганскому языку, не покидавший его до конца жизни и сделавший его, в конце концов, одним из виднейших знатоков и исследователей этого языка в Западной Европе. Именно дарования лингвиста-практика привлекли к нему внимание британского «Библейского общества», которое предложило Борро поехать в Петербург, ознакомиться здесь с теми рукописными переводами Библии на китайский и манчжурский языки, которые здесь найдутся, в особенности же с теми, которые были выполнены русскими синологами, самому научиться китайскому языку у таких его петербург-

¹ «Пушкин и его современники», вып. IX—X, СПб., 1910, стр. 173. Таргум — халдейское слово, обозначающее «перевод» (этим термином обозначали переводы отдельных частей ветхого завета на халдейский или арамейский языки).

ских авторитетных знатоков, каким был в то время Иакинф Бичурин, и, наконец, воспользоваться теми удачными опытами литографирования китайских иероглифов, какие связаны были с именем петербургского востоковеда-дилеганта П. Л. Шиллинга-Канштата. Дж. Борро принял эти предложения и отправился в Петербург. Он надеялся на свои лингвистические способности: манчжурский и китайский языки могли пополнить тот длинный список языков, которыми он уже овладел, и открыть ему дальнейшие жизненные перспективы. Страсть Борро к изучению языков была столь же непреодолима, как и его желание видеть новые страны.

Борро приехал в Петербург в августе 1833 г. Петербург показался ему «прекраснейшим городом в мире». «Лондон, Париж, Мадрид и другие столицы, в которых я бывал, и в подметки не годятся ему», — писал он на родину.¹ Еще большие восторги чувствуются в последующих его письмах из Петербурга.² Первые впечатления оказались устойчивыми и никогда более не покидали Борро; чем больше он входил в русскую жизнь и знакомился с русскими людьми, тем больше они ему нравились. Через год (письмо от 1 мая 1834 г.) Борро признавался: «Мне очень нравится жить здесь, так как русские — самый добродушный и любезный народ в мире»;³ этим и нужно объяснить, что он сравнительно скоро овладел русским языком, к которому чувствовал интерес и влечение. Правда, несмотря на двухлетнее пребывание в России, Борро почти не завязал никаких связей с кругами петербургских литераторов. Он случайно добрался лишь до «салона» Н. И. Греча, а о том чтобы стать гостем в более высоких литературных сферах и быть представленным Пушкину, к которому он чувствовал благоговение, Борро не смел и мечтать. С тем большим увлечением Борро погрузился в самую толщу русской жизни, сводил знакомства в кругах петербургского мещанства, среди ремесленников и, мечтая повидать русских цыган в интересах своих лингвистических и этнографических изучений, совершил даже поездку в Москву.

Одним из ближайших приятелей Борро в период его петербургской жизни был Джон Гасфельдт.

Джон (или Иоганн) Гасфельдт был датчанином и, согласно данным В. Нэппа, родился в Дании 17 декабря 1800 г. Прослужив некоторое время в министерстве иностранных дел в Копенгагене, Гасфельдт уехал в Петербург в сентябре 1830 г. Здесь он сперва был причислен к датскому посольству в качестве переводчика, но затем отказался от датской государственной службы и сделался преподавателем иностранных языков в морском кадетском корпусе и других учебных заведениях Петербурга. «Между Борро и Гасфельдтом, — пишет Нэпп, — возникла тесная дружба, которая повела, после их разлуки, к длительной переписке, продолжавшейся до тех пор, пока Борро не перестал обмениваться письмами с кем-либо. Все письма Гасфельдта писаны по-датски на очень тонкой бумаге, очень мелким почерком, и некоторые из них содержат петербургские воспоминания и сплетни за все эти годы. Два приятеля встретились в Ультоне в 1852 г. и потом снова в 1857 г. С этого момента всякие письменные следы датчанина пропадают, и все мои усилия узнать в Дании и в России о последнем периоде его жизни

¹ William Ireland Knapp, Life, writings and correspondence of G. Borrow, Derived from official and other authentic sources, London, 1899, vol. I, p. 171.

² Там же, стр. 172.

³ Там же, стр. 200—201.

остались бесплодными».¹ Более поздний биограф Дж. Борро, К. Шортер, напечатал письмо Гасфельдта из Петербурга от 26 апреля (8 мая) 1858 г.;² из этого письма следует, что Гасфельдт собирался тогда вовсе покинуть Россию, где он прожил 27 лет, и возвратиться в Данию. Не можем сказать с полной уверенностью, осуществил ли он свое намерение и долго ли пробыл у себя на родине; такие поездки он совершал нередко;³ однако умер Гасфельдт, повидимому, в России, в глубокой старости.⁴

История многолетней дружбы Борро и Гасфельдта раскрывается нам, главным образом, из их переписки. В руках биографа Борро В. Нэппа были многочисленные письма Гасфельдта к Борро, написанные из Петербурга между 1835 и 1849 гг., однако он не мог напечатать их полностью и привел лишь их пересказы или выдержки из них. В 1913 г. К. Шортер опубликовал еще три письма Гасфельдта к Борро из Петербурга, случайно отколовшиеся от всей коллекции. Все исследователи Борро высказывали сожаление, что им не были известны ответные письма Борро к Гасфельдту. Сравнительно недавно некоторая часть этих писем нашлась: в рукописном отделении Ленинградской гос. Публичной библиотеки хранится 21 письмо Борро к Гасфельду 1836—1846 гг.: все они не изданы.⁵ Данные, которые можно извлечь из этих писем, в сопоставлении с теми, которые заключаются в опубликованных письмах Гасфельдта, позволяют нам довольно подробно представить себе обстановку жизни Борро в Петербурге.

Из этих писем мы знаем, что, выполнив поручение по отпечатанию текста манчжурской библии, Борро в той же петербургской типографии Шульца и Бенезе издал в очень ограниченном количестве экземпляров ту самую книгу своих переводов «Таргум», которая сохранилась в библиотеке Пушкина. В этой книге Борро поместил свои стихотворные переводы с множества языков — древнееврейского, арабского, персидского, турецкого, татарского, китайского и ряда европейских, всего 30 языков. Интерес этой книге придает, между прочим, то обстоятельство, что здесь же напечатаны два перевода из Пушкина: «Черной шали» (стр. 27—28) и песни из «Цыган» (стр. 29). Описавший эту книгу по экземпляру библиотеки Пушкина, Б. Л. Модзалевский не заметил, что в одном переплете с нею находится и другая брошюра с переводами из Пушкина, изданная Борро в той же петербургской типографии через несколько месяцев после «Таргума». Это издание имеет следующее название: «Талисман. Перевод с русского языка стихотворения Александра Пушкина, с прибавлением других стихотворений», Спб. 1835 (The Talisman. From the Russian of Alexander Pushkin, With other pieces, St. Petersburg, 1835; ценз. разрешение: 24 августа 1835 г.). Здесь напечатаны в английском стихотворном переводе «Талисман» Пушкина

¹ W. I. Knapp, там же, стр. 173.

² C. Shorter, G. Borrow and his circle, London, 1913, стр. 168.

³ Н. И. Греч. Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии, СПб., 1847, стр. 7, 17.

⁴ Решаюсь отождествить его с Иоганном-Петерсоном Гасфельдом, похороненным на Волковом лютеранском кладбище; по данным надгробной надписи он род. в 1800 г., а умер 15 декабря 1894 г. («Петербургский некрополь», т. I, стр. 646). Характеристику Гасфельдта см. еще В. Б. (урнашев). «Из воспоминаний петербургского старожила», «Заря», 1871, апрель, стр. 9.

⁵ Ниже я цитирую эти письма в переводах, сделанных непосредственно с подлинников. На значение этих писем я уже указывал в статье «Пушкин на Западе», «Временник Пушкинской комиссии», кн. 3, М.—Л., 1937, стр. 124.

(стр. 3—4) и его же баллада «Русалка» (стр. 5—7). Имя переводчика на этот раз не указано ни на титульном листе брошюры, ни в тексте, но мы знаем, что им был тот же Борро.

Все эти переводы Борро из Пушкина заняли видное место в английской пушкинской литературе, хотя в художественном отношении они оставляют желать многого. В переводе «Черной шали», например, Борро допустил смысловую ошибку, не поняв стиха «младую гречанку я страстно любил» и превратил гречанку (т. е. Greek maid) в собственное имя Greshenka; лучше других перевод «Талисмана». Тем не менее, за этими переводами Борро из Пушкина остается несомненная историческая заслуга. Брошюра, заключающая в себе переводы «Талисмана» и «Русалки» была первым отдельно выпущенным английским изданием стихотворений Пушкина.

Как попали оба эти издания к Пушкину? Об этом рассказывает нам переписка Борро с Гасфельдтом. Вечером 27 августа (8 сент. н. ст.) 1835 г. Борро и Гасфельдт встретились в Петербурге последний раз перед долгой разлукой. На другой день Борро выехал в Кронштадт, чтобы пересечь там на пакетбот, шедший в Англию через Любек и Гамбург. На родине Борро, однако, пробыл недолго. Вскоре он отправился с новым поручением в Португалию и Испанию. Одно из писем Борро к Гасфельдту ленинградской коллегии послано в Петербург из Мадрида, 23 мая 1836 г. В этом любопытном письме Борро пишет Гасфельдту: «Вот уже несколько недель, как я получил от вас два письма с автографами Пушкина и Жуковского. Сердечно благодарю вас за беспокойство, которое вы себе причинили, добывая их для меня», и т. д. Естественен вопрос, что это за автограф Пушкина Гасфельдт добывал для Борро и послал его в Мадрид? Ответом на это служат одно из писем Гасфельдта, опубликованное В. Нэппом. Из него явствует, что речь идет о записке Пушкина в благодарность за поднесенные ему экземпляры «Таргума» и «Талисмана» в одном переплете.

Вот что писал Гасфельдт к Борро из Петербурга (в письме, ответом на которое служил только что цитированное послание): «Вскоре после того, как я узнал, что Пушкин находится в городе, я навестил его и преподнес ему Вашу книгу. Он принял ее с очевидным удовлетворением. Он очень сожалел, что не познакомился с Вами, пока Вы были здесь. Он спросил меня, переписываюсь ли я с Вами, и, получив утвердительный ответ, просил выразить Вам свою благодарность. Воспользовавшись удобным случаем, я мгновенно вытащил из своего кармана этот лист бумаги и просил его написать несколько слов, которые Вы найдете ниже вместе с их хорошей копией не столь поэтической орфографией; в противном случае Вам пришлось бы их долго изучать, прежде чем Вы смогли бы расшифровать его каракули (crowstracks)». ¹ Далее В. Нэпп печатает текст записки Пушкина по-русски, сопровождая его транскрипцией латинскими литерами, а также дословным английским переводом. ² Не вполне ясно, принадлежит ли эта транскрипция Гасфельдту или самому Нэппу, который несомненно имел в руках и подлинный автограф Пушкина, но сопоставление всех указанных трех текстов, — русского в оригинале, в транскрипции и в переводе, — не оставляет никакого сомнения в том, что записка Пушкина прочтена и воспроизведена безошибочно.

¹ W. I. Knappe, I, стр. 225.

² Там же, стр. 225—226.

Приводим эту записку с соблюдением орфографии подлинника, так как до последнего времени она не была известна в литературе о Пушкине и в собрания его писем не включалась.

Александръ Пушкинъ съ глубочайшей благодарностію получилъ книгу Господина Борро и сердечно жалѣеть, что не имѣлъ чести лично с ним познакомиться.

К сожалению, почти все письма Гасфельдта, в том числе и только что цитированное, приведены В. Нэпом не полностью и без указания их дат. Это затрудняет решение вопроса о том, когда Гасфельдт побывал у Пушкина и, следовательно, каким числом следует датировать посланную им Борро в Мадрид записку поэта. Тем не менее можно высказать некоторые предположения по этому поводу.

Почему сам Борро не отправился к Пушкину, чтобы преподнести ему свои переводы? Обратим прежде всего внимание на то, что брошюра Борро с его переводом «Талисмана» имеет цензурное разрешение от 24 августа 1835 г.; следовательно, она должна была выйти в свет после возвращения Борро из Москвы и ко дню его отъезда из Петербурга, 28 августа (9 сентября н. ст.) или даже позже этого времени. 7 сентября 1835 г. Пушкин, в свою очередь, уехал из Петербурга в Михайловское и Тригорское и вернулся в Петербург не позднее 23 октября. Следовательно, Гасфельдт не мог выполнить поручение Борро ранее этой даты, отчего он и пишет в своем письме: «Вскоре после того, как я узнал, что Пушкин находится в городе...» С другой стороны, Гасфельдт не мог выполнить своего поручения также и после 8-го апреля 1836 г., так как в этот день Пушкин уехал из Петербурга в Москву, а записка его, посланная Гасфельдтом в Мадрид, пришла туда в конце апреля или начале мая (23 мая н. ст. Борро, как мы видели, свидетельствовал, что он получил эту записку более двух недель назад).

Конец того же письма Гасфельдта к Борро содержит еще одно указание, которым необходимо воспользоваться. Гасфельдт пишет: «Жуковский все еще в Царском Селе и будет в городе не ранее, чем на будущей неделе. Я не премину вручить ему Ваше дитя «Таргум», и если мне удастся побудить его написать несколько слов, то они послужат к украшению моего следующего письма к Вам». Таким образом, записка Пушкина была вложена в письмо Гасфельдта еще до того времени, как ему удалось получить для Борро благодарственный автографический отклик Жуковского. Поэтому Борро и говорит о двух полученных им письмах Гасфельдта, содержащих в себе «автографы Пушкина и Жуковского»; первое из этих писем послано из Петербурга в Мадрид еще до того, как Жуковский возвратился в Петербург из Царского Села. К сожалению, точная дата приезда Жуковского в Петербург остается неизвестной и с трудом поддается определению; мы знаем лишь, что Жуковский был здесь в апреле 1836 г.¹ Исходя из всех этих хронологических сопоставлений, можно было бы условно датировать

¹ Дневников Жуковского за 1834—1836 гг. не сохранилось (см. «Дневники В. А. Жуковского с прим. И. Бычкова», СПб., 1903, стр. 4; «Бумаги В. А. Жуковского», СПб. 1887, стр. 3—17); известно, что в Петербург Жуковский приехал из Царского Села 29 октября 1835 г. (Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, стр. 290) и в конце декабря того же года поехал в Дерпт («Остафьевский архив», т. III, СПб., 1899, стр. 282); 4-м апреля 1836 г. датировано его письмо из Петербурга к А. Стурдзе («Русская старина», 1902, май, стр. 389).

записку Пушкина мартом 1836 г.; во всяком случае она написана между концом октября — началом ноября 1835 г. и концом марта 1836 г.; с большим вероятием следует ее относить к началу 1836 г., чем к концу 1835 г.

Записка Жуковского, полученная Госфельдтом для Борро и посланная ему в Мадрид, также не датирована. Подлинный текст ее (по-русски) мы находим в той же книге В. Нэппа: «Я с величайшей благодарностью получил Вашу книгу и обещаю себе много удовольствия от ее чтения. Примите уверение в душевном моем почтении. Жуковский». ¹

Отметим еще один факт, представляющий некоторый интерес для истории посещения Гасфельдтом Пушкина с изданиями переводов Борро в руках. В мартовском номере лондонского журнала «Атенеум» 1836 г. за подписью J. P. H., под которой скрылся Джон Гасфельдт, ² было помещено его большое письмо, помеченное: «С.-Петербург. 24 января (5 февраля)». Гасфельдт жалуется здесь на невнимание английских журналистов к русской литературе, на ошибочность существующих в Англии представлений о России и т. д.; непосредственным поводом для этой статьи Гасфельдта послужили, однако, английские издания Борро, выпущенные в Петербурге. Вслед за кое-какими данными о Борро, сообщенными весьма дружеской рукой, Гасфельдт в восторженных выражениях отзывается о «Таргуме» и «Талисмане». «Изысканная утонченность, с которой он постиг и воспроизвел красоты хорошо выбранных оригиналов, — пишет Гасфельдт о Борро, — является свидетельством его учености и таланта». «Таргум» — «представляет собою жемчужину литературы и, подобно жемчужинам, издание приобретает ценность благодаря своей редкости, так как его напечатано около 100 экземпляров». И чтобы не показаться голословным в своей оценке, Гасфельдт воспроизводит далее два образца из переводов Борро, один — с датского, другой — «Талисмана» Пушкина. ³ Номер «Атенеума» с указанной статьей вышел в свет 5 марта 1836 г. и был получен в Петербурге недели две спустя, т. е. бытия может именно около того времени, когда Гасфельдт навестил Пушкина. Очень возможно, что Гасфельдт явился к Пушкину не только с изданиями Борро в руках, но и со свежим номером «Атенеума», где воспроизведен был «Талисман»: этот пере-

¹ W. I. Knapp, там же, стр. 226. Экземпляр «Таргума», преподнесенный Жуковскому Гасфельдтом от имени автора, сохранился в основной части библиотеки Жуковского, ныне находящейся в Томском гос. университете (Каталог главной библиотеки имп. Томского университета. Томск, 1889, т. 1, № 13889).

² Принадлежность этой корреспонденции перу Гасфельдта, — о чем, впрочем, можно было бы догадаться и из ее содержания, — удостоверяется его собственным письмом к Борро от 6(18) ноября 1836 г., напечатанном в книге Кл. Шоргера (George Borrow and his circle. London, 1913, стр. 165—166). Гасфельдт пишет здесь: «В 436 номере «Атенеума»... вы найдете статью, которую я написал и в которой Вы упоминаетесь».

³ «Athenaeum» March 5, 1836, № 436, стр. 177—178. В библиографиях переводов из Пушкина на английский язык эта перепечатка «Талисмана» не указывалась. Отметим, кстати, что другой перевод Борро из того же его петербургского издания, — баллады Пушкина «Русалка», — был воспроизведен в пушкинском юбилейном номере лондонского журнала «The Anglo-Russian» (1899, vol. II, № 12, стр. 264); редакция этого журнала отзывалась об этом переводе, как об «одном из лучших английских переводов из Пушкина», не зная, однако, имени переводчика и упомянув лишь, что этот перевод был опубликован в Петербурге «анонимно... в 1837 г.» (sic!). Чрезвычайная редкость этого издания, по словам В. Нэппа, объясняется тем, что «Талисман» не всегда находился в одном переплете с «Таргумом» и, кроме того, не имел на титульном листе имени переводчика (W. Knapp, стр. 233). Переводы Борро из Пушкина в настоящее время перепечатаны в 15 томе собрания его сочинений (G. Borrow, Works, London 1924, vol 15, стр. 521—526).

вод мог лишний раз засвидетельствовать Пушкину, что его английский переводчик замечен и встречен похвалами в одном из распространенных английских журналов. Конечно, беседуя с Пушкиным о Борро, Гасфельдт сообщил русскому поэту целый ряд других данных биографического характера о своем друге, поручение которого он выполнял; все эти подробности не могли не заинтересовать Пушкина, отчего он и выразил сожаление, — нужно думать вполне искреннее, — что ему не удалось встретиться с Борро лично.

Подлинные автографы Пушкина и Жуковского остались неразысканными. Их нет ни в музее Борро в его родном городе Нориче, ни в бумагах В. Нэппа, где были предприняты поиски.

Борро и после отъезда из России очень интересовался Пушкиным. В «Таргуме» из «Цыган» напечатана лишь песня Земфиры, а между тем вся эта поэма Пушкина была переведена Борро полностью и ныне напечатана в полном собрании его сочинений.¹ В рукописях Борро остались также и были опубликованы только в недавнее время отрывки из его перевода «Руслана и Людмилы». О смерти Пушкина Борро узнал с запозданием из старых лондонских газет и писал по этому поводу Гасфельдту (20 ноября 1838 г.): «С печалью услышал я о смерти Пушкина. Поистине это потеря не только для России, но и для всего мира».

¹ G. Borrow, Works, London 1924, vol. 16, стр. 419—441.

Проф. П. Н. Берков

ЗАМЕТКА К БИОГРАФИИ А. С. ПУШКИНА

(Пушкин в Аккермане)

В конце 1821 г. великий русский поэт А. С. Пушкин посетил г. Белгород-Днестровский, носивший в то время турецкое название Аккерман, данное этому старинному славянскому городу в XVI в. В биографиях Пушкина эпизод этот мало освещен, и говорят о нем биографы только на основании сведений, приведенных Н. И. Надеждиным в статье «Прогулка в Бессарабии», помещенной в изданном им «Одесском альманахе на 1840».¹

Сообщая о посещении Аккермана, Надеждин прибавляет: «Я обошел кругом крепость по стенам и по валу. Вид на лиман, особенно при захождении солнца, невыразимо очарователен. Мой чичероне, один из учителей уездного училища, указал мне прибрежную башню, на которой Пушкин провел будто однажды целую ночь, погруженный в созерцанье: я этому очень верю. Прибавляют, что эта башня с тех пор называется Овидиевой!.. Не потому ли, что поэт здесь, может быть, вел свою вдохновенную беседу с тенью Овидия? В самом деле, воспоминание о римском изгнаннике так легко и естественно могло возбудиться горюдом, украшенным его именем, который отсюда виднеется на краю горизонта, сливающегося с лиманом, во всей своей пустынной красе. Во всяком случае, приятно знать это признательное предание, которое одушевляет безмолвные груды камней, приковывает к ним светлый вдохновенный образ, хотя бы то было и мифической тенью» (стр. 332).

Приведенный отрывок свидетельствует о том, что Надеждин не слишком доверял рассказу уездного учителя; отсюда такие осторожные оговорки «будто провел однажды целую ночь», «во всяком случае, приятно знать», «хотя бы то было и мифической тенью».

Эта осторожность исчезла у тех, кто, излагая эпизод о посещении Пушкиным Аккермана, в дальнейшем обращался к статье Надеждина. Так, проф. А. И. Яцимирский, приводя легенду уездного учителя, опускает недоверчивое «будто» Надеждина и даже прилагает снимок с якобы пушкинской башни, с которой Овидиополь как раз и не виден.² Еще дальше пошел некий Л. А. Богданович, утверждавший в статье «Белгород на Днестре»,³ что Пушкин нередко мечтал на стенах башни,

¹ «Одесский альманах на 1840», Одесса, стр. 308—357.

² Соч. Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 175.

³ «Исторический вестник», 1910, № 8, стр. 632.

снимок которой воспроизведен в тексте и которая, вопреки указаниям Надеждина, вовсе не прибрежная.¹

Легенда о том, что Пушкин провел ночь на одной из башен аккерманской крепости прочно вошла в широкий научный² и читательский оборот,³ несмотря на то, что уже довольно давно факт этот решительно был отвергнут безусловно авторитетным автором, спутником Пушкина по поездке.

В 1866 г. на страницах исторического журнала «Русский архив» была напечатана обширная работа редактора этого издания П. И. Бартенева «Пушкин в южной России», где на основании данных Надеждина бегло упоминается о посещении поэтом Аккермана (стлб. 1163, 1165). Вслед за статьей Бартенева в той же книжке «Русского архива» были напечатаны «Заметки на предыдущую статью» И. П. Липранди, построенные на дневнике и воспоминаниях последнего.

Липранди сообщил, что Пушкин совершил путешествие по Бессарабии, сопутствуя ему в его поездке в Аккерман и Измаил в декабре 1821 г. Между прочим, Липранди указал, что генерал Инзов, начальник Пушкина, сначала не соглашался отпустить его и что разрешение было дано Пушкину только после того, как, по просьбе поэта, к Инзову обратился ген. М. Ф. Орлов, один из руководителей декабристского Южного тайного общества.

Липранди и вслед за ним остальные лица, касавшиеся поездки Пушкина в Аккерман и Измаил, представляли дело так, будто Пушкин отправился в путь с целью посетить места, связанные с именем римского поэта Овидия, находившегося некогда в ссылке на берегах Дуная и умершего там. Едва ли, однако, можно в полной мере считать правильной «овидиевскую» версию Липранди. Безусловно, дело обстояло иначе. И в Аккермане, и в Измаиле квартировали полки, среди офицеров которых было не мало участников тайных обществ; были среди них и петербургские знакомцы Пушкина. В Кишиневе в 1821 г. Пушкин познакомился с майором 32 егерского полка, расквартированного в Аккермане, В. Ф. Раевским, через несколько месяцев арестованным и посаженным в Тираспольскую крепость. С Раевским Пушкин сошелся очень близко и был даже с ним на «ты». Следует прибавить, что в Аккермане в начале 1820-х годов была ложа гетеристов, участников греческого национально-освободительного движения, очень интересовавшего Пушкина.⁴ Если связать все эти факты с известным радикализмом Пушкина в 1821—1822 гг., то приходится признать, что «овидиевская» версия Липранди должна была, возможно, скрыть более серьезные политические причины поездки Пушкина.

В упомянутой статье в «Русском архиве» Липранди, опираясь на свой дневник, указывает, что между 9 и 23 декабря 1821 г. он, вместе с Пушкиным, совершил путешествие по Бессарабии по маршруту: Киши-

1 О «Пушкинской башне» см. также «Новороссийский телеграф», 1899, 16 марта, № 7757, стр. 2 (Внутренние известия); «Ведомости Одесского градоначальства», 1899, 17 марта, № 62, стр. 2 (Из газет); «Пермские губ. ведомости», 1899, 31 марта, № 71.

2 В книге Георгия Безвикони и Скарлата Каллимаки «Pushkin in exil» (Bucuresti, 1947, p. 19) повторяется версия Надеждина, но высказывается мысль, что мечтал Пушкин не о судьбе Овидия, «так как в течение всего пути речи о римском изгнаннике не было».

3 См. статью П. В. Козырева «А. С. Пушкин в Аккермане» в газ. «Знамя советов» (Белгород-Днестровский), 1949, 7 июня, 68 (814), стр. 2.

4 В. И. Семейский. Политические и общественные идеи декабристов, стр. 255.

нев — Бендеры — Каушаны — Паланка — Аккерман — Шабо — Татарбунар — Измаил — Белград — Леово — Кишинев. Главной целью поездки Липранди были Измаил и Аккерман, где ему нужно было произвести следствие в 31 и 32 егерских полках. Липранди не указывает более точно причин поездки, но, можно полагать, что в Аккермане он должен был познакомиться с делом об освобождении командиром 32 егерского полка полковником А. Г. Непениным от суда «барабанщика Матвеева и рядового Шупляка, пойманных на краже с пожара в Аккермане ружья».¹ В Измаиле у Липранди дело было серьезнее, так как, по его словам, он должен был опросить два батальона.²

По соображениям практического свойства Липранди в первую очередь решил посетить Аккерман. В намеченный пункт путешественники прибыли, очевидно, днем 12 декабря. Вот что пишет Липранди относительно пребывания Пушкина в Аккермане: «В Аккермане мы захали прямо к полковнику командиру Андрею Григорьевичу Непенину (старому моему соратнику и бывшему в 1812 и 1815 годах адъютантом у князя Щербатова) и поспели к самому обеду, где Пушкин встретил своего петербургского знакомого подполковника Кюрто, кажется, бывшего его учителя фехтования, и месяца за два назначенного комендантом Аккерманского замка на место полковника фон-Тропфа. Обед кончился поздно, идти в замок было уже не зачем, к тому же было и снежно, дождливо. Вечер проведен был очень весело. Старик Кюрто, француз, был презабавен. Об Овидии не было и помину. Кюрто звал всех на другой день к себе обедать. Рано утром я отправился по поручению к ротам, оставя Пушкина еще спящим; но когда возвратился, то он ушел уже к коменданту, куда вскоре последовали и мы. Пушкин в это время ходил с Кюрто осматривать замок, сложенный из башен различных эпох, но мы не долго их прождали. Все обедавшие не прочь были, как говорится, погулять, и хозяин подавал пример гостям своим. Пушкин, то любезничал с пятью здоровенными и не первой уже молодости дочерьми хозяина, которых он увидал в первый раз; то подходил к столикам, на которых играли в вист и, как охотник, держал пари, то брал свободную колоду и, стоя у стола, предлагал кому-нибудь срезать (в штос); звонский его смех слышен был во всех углах. Далеко за полночь возвратились мы домой. Поутру мне хотелось повидаться со швейцарцем Тарданом, учредившим колонию в д. Шабо, в трех верстах на юг от Аккермана. Пушкин поехал со мной. Тардан очень ему понравился, а Пушкин Тардану, удовлетворявшему бесчисленным вопросам моего спутника. Мы пробывли часа два и взяли с собой Тардана обедать к Непенину. Отобедав, выехали в шесть часов в Измаил. . . В эту поездку Пушкин не проводил ночи на прибрежной Аккерманской башне, смотря на Овидиополь, — как свидетельствовал уездный учитель. Может быть, это было в следующем году, когда я уезжал на пять месяцев из Бессарабии, но и в таком случае мне пришлось бы узнать о том».³

Таким образом, Липранди, с достаточной подробностью сообщая о пребывании Пушкина в Аккермане, исключает всякую возможность признать верным сообщение уездного учителя. Вместе с тем, Липранди не дает никаких материалов относительно того, что делал Пушкин днем 13 декабря, если не считать посещения крепости, или замка, как называет ее Липранди. Можно полагать, что не в интересах Липранди было

¹ Восстание декабристов, т. VIII, стр. 260.

² Русский архив, 1866, стлб. 1273.

³ Русский архив, 1866, стлб. 1271—1273.

писать о том, что делал Пушкин, а, может быть, он и в самом деле не знал подробностей.

А. Г. Непенин (1787—1845), у которого остановились Пушкин с Липранди, был человеком очень интересным, хотя и литературно мало образованным (он спутал А. С. Пушкина с его дядей, В. Л. Пушкиным,¹ что очень рассердило поэта); Непенин был членом Союза Благоденствия, позднее привлекался по делу Раевского, будучи обвинен в «слабом смотреии» за своим подчиненным Раевским. В наказание было определено «отставить его от службы и впредь никуда не определять». В начале января 1826 г. Непенин был арестован в Тирасполе в связи со следствием по делу декабристов, привезен в Петербург и посажен в Петропавловскую крепость; сидел он недолго, но после освобождения был вовсе уволен от службы. За «неприличное от полкового командира лейб-гвардии Павловского полка требование его, Непенина, позволить ему осмотреть казармы сего полка и видеть солдат», Непенин был по личному повелению Николая I выслан из столицы на жительство в Тульский уезд под секретное наблюдение полиции. Лишь в конце жизни Непенину был разрешен въезд в столицу.²

Впрочем, по словам Липранди, Непенин Пушкину не понравился.³

Дом, в котором жил в 1821 г. Непенин и в котором останавливался Пушкин, по словам старожилов-аккерманцев, сохранился, он находится по Михайловской ул., против Старого бульвара. Это одноэтажный домик старинной архитектуры, построенный одновременно с рядом других зданий вблизи казарм, в которых и помещался во времена Пушкина 32-й егерский полк.⁴

В творчестве Пушкина Аккерман отразился очень бегло, только в виде двух строк в «Цыганах»:

И правил Буджаком паша
С высоких башен Аккермана.

Упоминает Пушкин об Аккермане и в исключенном позднее примечании к строфе VIII главы I «Евгения Онегина», отказываясь признать этот город местом, где якобы умер Овидий.

Однако поездка Пушкина в Аккерман и пущенная Надеждиным в научный оборот легенда о том, что поэт промечтал целую ночь на одной из прибрежных башен, не прошли совсем бесследно в русской литературе; они подали, как нам кажется, повод Гоголю для одного места в его «Театральном разезде»: Вот оно:

«Господин с другой стороны группы (подхватывая речь).

Нет, это не в тюрьме, это было на башне. Это видели те, которые проезжали. Говорят, что было что-то необыкновенное. Вообразите. Поэт на высочайшей башне, вокруг горы, местоположение восхитительное, и он оттуда читает стихи. На правда ли, что здесь является какая-то особенная черта писателя?»

Первоначальный набросок «Театрального разезда» относится к 1836 г., но он не сохранился. Окончательная редакция этого произведе-

¹ Там же, стлб. 1452—1453.

² О Непенине см. А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Деятели революционного движения в России, М., 1927, т. I, стлб. 126; В. С. Арсеньев и И. М. Картавцов. Декабристы-туляки. Тула, 1927, стр. 40—41; Восстание декабристов, Л., 1925, т. VIII, стр. 137, 259—260 и 364; Н. М. Ченцов, Восстание декабристов, Библиография, М.—Л., 1929, стр. 768 (указатель); И. П. Липранди, Русский архив, 1866, стлб. 1436—1437 и примеч. 73.

³ Русский архив, 1866, стлб. 1273.

⁴ Снимок с этого здания воспроизведен в юбилейном пушкинском номере белгород-днестровской газеты «Знамя Советов», 1949, 7 июня, № 68(814), стр. 2.

дения была отослана Гоголем Прокоповичу в октябре 1842 г. По поводу этой пьесы Гоголь писал А. В. Никитенко: «Вы сами понимаете, что всякая фраза досталась мне обдумываниями, долгими соображениями, что мне тяжелей расстаться с ним, чем другому писателю, которому ничего не стоит в одну минуту одно заменить другим». ¹

Не располагая никакими доказательствами, я позволю себе высказать предположение, что в этом отрывке Гоголь ставил себе целью осмеять пошлую легенду уездного учителя, опубликованную Надеждиным в «Одесском альманахе»; издание это имело большой успех и остановило на себе внимание Белинского, посвятившего ему рецензию. Гоголь не мог его не знать.

А в легенде уездного учителя Гоголь видел ненавистную ему дешевую романтику в духе Бенедиктова, а не как не «какую-то особенную черту» великого, но простого Пушкина.

¹ Письма Н. В. Гоголя, Под ред. В. И. Шенрока, т. II, стр. 224.

Т. А. Карпенко

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ИЗДАНИЙ ПУШКИНА НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СССР

К 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина научная библиотека им. А. М. Горького при Ленинградском ордена Ленина Государственном университете им. А. А. Жданова открыла книжную выставку: «Пушкин на языках народов СССР с 1937—1949 гг.». Выставка разместилась в большом Актовом зале Университета, и ее открытие приурочено было к торжественному заседанию Ученого совета памяти Пушкина и к «Пушкинским чтениям» 1949 г. В организации этой выставки приняли участие Восточный и Северный факультеты Ленинградского университета, а также филиальные библиотеки университета: ряд редких и ценных экспонатов предоставила библиотека Восточного факультета. На выставке представлено было много изданий сочинений Пушкина в переводах на различные языки народов, обитающих в СССР — собраний сочинений поэта, переводов его отдельных произведений, поэтических и прозаических.

Выставка эта представляла значительный интерес. Она явила собою живое свидетельство того, что в наши дни стало действительностью предвидение великого поэта:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык...

На выставке представлены были прежде всего с достаточной полнотой наиболее известные издания переводов Пушкина на языках украинском, белорусском, грузинском и армянском. Как известно, ряд прекрасных переводов произведений Пушкина на эти языки в новых и новых переизданиях вышли в свет именно за последнее десятилетие. На выставке можно было увидеть из украинских изданий — переводы М. Рыльского, П. Тычины, М. Бажана, В. Сосюры и др.; из белорусских изданий переводов «Медного всадника» Янки Купала, «Полтава» Якуба Коласа, лирических стихотворений М. Танка, П. Бровки и др. Хорошо представлены были на выставке также новейшие грузинские и армянские переводы из Пушкина в изящно и богато оформленных изданиях.

Особое внимание посетителей выставки привлекли к себе те витрины, в которых подобраны были переводы произведений Пушкина на языки народов Севера. И это понятно: сравнительно недавно десятки народностей Сибири и Дальнего Востока не имели своей письменности; на 14 языках народов Севера создана была письменность лишь в 1931—1932 гг. Буквально в течение нескольких лет на всех этих языках появилась и литература, вначале переводная, учебная, политическая, а затем

и художественная. Ряд народов советского Севера получил переводы из Пушкина незадолго до юбилейных пушкинских дней 1937 г. В 1936 г., например, почти одновременно вышли «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде» на пяти языках: эвенкийском, хантэйском, ненецком, нанайском, нивухском. Тогда же выпущены были «Станционный смотритель» и «Метель» — на нымыланском языке, а первая из этих повестей также на языках эвенском, нанайском, хантэйском, мансийском (см. статью В. Левина «Пушкин на языках народов Севера» «Правда» 1937, 9 февраля). В последующие, послеюбилейные годы эти издания пополнились новыми переводами из Пушкина на те же и на другие языки (см. М. Воскобойников. «Пушкин на языках народов Севера», «Звезда», 1949, № 6, стр. 168—170). Процесс перевода на все эти языки сложных по своей стилистической структуре произведений Пушкина, как стихотворных, так и прозаических, представил, естественно, особенно на первых порах, довольно значительные трудности.

О том, как создавались и совершенствовались отдельные переводы на указанные языки в пушкинской литературе, имеется уже ряд интересных свидетельств. Так, студент факультета народов Севера Лен. гос. университета нанаец Сулунгу Оненко свидетельствует, что уже около 1935 г. он начал задумываться о переводах Пушкина на родной язык. Он перевел «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о попе и о работнике его Балде» и «Станционного смотрителя» («Вечерний Ленинград», 8 июня 1949 г.).

Переводчик П. Хатанзеев (остяк) в 1937 г. принес в редакцию Ленинградского отделения Гослитиздата перевод «Сказки о рыбаке и рыбке». «Она понятна нам», — говорил Хатанзеев, — «...мы остяки-рыболовы, живем на Оби, сетями рыбу ловим. Старики нам сказывали такую же сказку про рыбака и рыбку. У Пушкина она интереснее. Я переводил ее на свой язык несколько раз, не удавалось. В нашем языке и слов многих нет и звучат слова по иному. Однако я перевел ее вновь». Говоря о трудностях, переводчик был прав: в хантэйском языке нет слов «откуп», «выкуп», «простофиля», «смилуйся» нет дифференцированных социальных обозначений — «боярин», «боярыня», «дворянин» «дворянка». Приходится заменять эти слова родственными. Русские сравнения, метафоры приходится заменять фольклорными соответствиями: вместо «так и вздулись сердитые волны» — «волны с пеной ходят», вместо «дубовых ворот» — «лиственничные ворота» и т. д.

Редакция лишь не могла согласиться с заменой «черной бури» «сильной бури» и особенно с заменой «синего моря» «белым морем».

— Но у нас нет синего моря, — настаивал переводчик, — наше Северное море всегда покрыто льдами, оно поэтому бывает белым, и в хантэйских сказках море белое. Ни синее, ни черное. Такое море непонятно нам. Белое оно море.

Беседа происходила весной 1936 года, а в сентябре сказки Пушкина на хантэйском языке вышли из печати. Вместе со сказками Пушкина на эвенкийском языке это были первые книги Пушкина на языках этих народов». (В. Левин, Пушкин на языках народов Севера, «Правда», 9 февраля 1937 г.).

Именно эти переводы были представлены для обозрения на одной из витрин выставки: „Сказки“, перев. П. Хатанзеева, рис. Л. Красовского, Ленинград, 1936; «Сказка о рыбаке и рыбке», перев. П. Е. Хатанзеева, рис. В. М. Фирсовой, обложка Л. И. Коростышевского, Ленинград, 1948, «Сказка о попе и о работнике его Балде», перев. А. Н. Аруева и К. А. Но-

викова, худ. П. Пеняев, г. Магадан, 1938 (эвенкский язык). Следует отметить еще ряд книг, выставленных в этой витрине.

„Сказка о рыбаке и рыбке”, перев. И. В. Хабарова и К. А. Новикова (эвенкский язык), рис. И. Билибина.

На ненецком языке издана „Сказка о царе Салтане”, перев. А. П. Пыря, Ленинград, 1946. Книга хорошо оформлена. Хантыйский (остяцкий) язык, кроме перечисленных переводов П. Е. Хатанзеева, представлен еще „Станционным смотрителем” в перев. Н. Терешкина, рис. А. Якобсон, Ленинград, 1937. Все эти издания дают представления о быстром культурном росте этих народностей, о роли Пушкина в развитии их языка. Представление о том, как ценит народ нашего Союза великого русского поэта и с каким благоговением относится к его памяти, дает стихотворение эвенка А. Платонова, посвященное Пушкину.

..Нерукотворный «Памятник»
Мне ясно говорит,
Что ты, великий Пушкин,
Слышишь наши песни.

«Памятник» пытались переводить и другие поэты-эвенки: А. Салаткин, А. Платонов, Н. Сахаров, Н. Кирилов, Н. Ламатканов. Они не только переводили «Памятник» на эвенкийский язык, но и посвящали поэту «ответные стихи» (М. Воскобойников, Пушкин на языках народов Севера, Звезда, 1949, № 6, стр. 168—170).

«За юдин 1936 г. Ленинградское отделение Гослитиздата выпустило на языках народов Севера следующие 11 книг Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и о работнике его Балде» на эвенкийском, хантыйском, ненецком, нанайском, нивхском языках. «Станционный смотритель» и «Метель» — на нымыланском языке. «Станционный смотритель» на эвенкском, нанайском, хантыйском и маньсийском языках и т. д. (Из статьи В. Левина, «Правда», 9 II, 1937 г.). Красиво оформлен и иллюстрирован еще ряд книг. «Цыганы» (на цыганском языке) перев. Н. А. Панкова, худ. И. Кричевский, Госиздат, Москва, 1937. «Медный всадник» и «Цыгане» (на осетинском языке), Орджоникидзе, 1940. «Сказка о царе Салтане» (на ногайском языке) худ. Г. Городецкий, Пятигорск, 1939; «Повести Белкина» (на хакасском языке), Школьная библиотека, с иллюстрациями, Хакоблнациздат, 1947, «Сказка о попе и о работнике его Балде», перев. А. Осмолова, рис. А. Каневского, Фрунзе, 1937, и т. д.

«По сообщениям Всесоюзной книжной палаты в течение 1949 г. на языках народов СССР выйдет 106 изданий произведений Пушкина тиражом в 1 млн. 300 тысяч экз. В СССР Пушкин издается на 76 языках». («Вечерний Ленинград» 23 мая 1949 г.).

Выставка «Пушкин на языках народов СССР 1937—1949» была открыта в течение юбилейной пушкинской недели. Она привлекла к себе широкое внимание студенчества и научных работников университета, а также всех посетителей университетских «Пушкинских чтений». Выставка наглядно продемонстрировала торжество ленинско-сталинской национальной политики, нерушимую дружбу народов Советского Союза, любовь их к великому русскому поэту.

Подписано к печати 1-ХІ-1949 г. М-33902.

Печ. л. 9³/₄+6 вклеек. Уч.-над. л. 14.5.

Тираж 1200+50 отд. отт. Заказ 1156.

Типография Ленинградского Государственного
Университета им. А. А. Жданова
Университетская наб., 7/9.



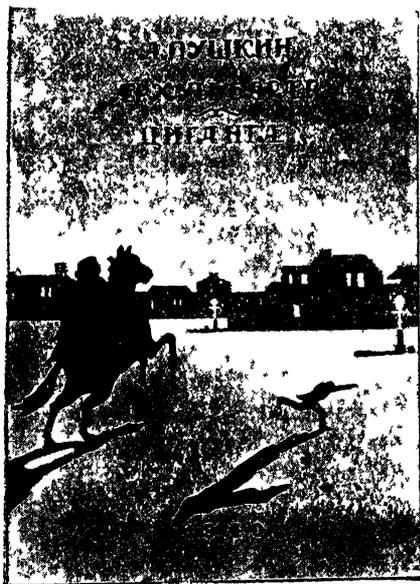
1

А. С. ПУШКИН

**ПОП, НОНГАН
ГУРГЭВЧИМНГЭН-ДЭ
БАЛДА**



2



3



Юбилейные издания сочинений А. С. Пушкина на языках народов СССР

1. „Сказка о рыбаке и рыбке“. Пер. И. В. Хабарова и К. А. Новикова Л., 1988 (эвенский язык). — 2. „Сказка о попе и о работнике его Балде“. Пер. А. Н. Аруева и К. А. Новикова. Худ. П. Пеняев, г. Магадан, 1938 (эвенский язык). — 3. „Медный всадник“. „Цыгане“, г. Орджоникидзе, 1940 (осетинский язык). — 4. „Капитанская дочка“, Ижевск, 1939 (удмуртский язык).

A. S. PUSKIN.

STANCIJA VANTTI NI



ГОСЛИТЕРАТ

1



2



3



4

Юбилейные издания сочинений А. С. Пушкина на языках народов СССР

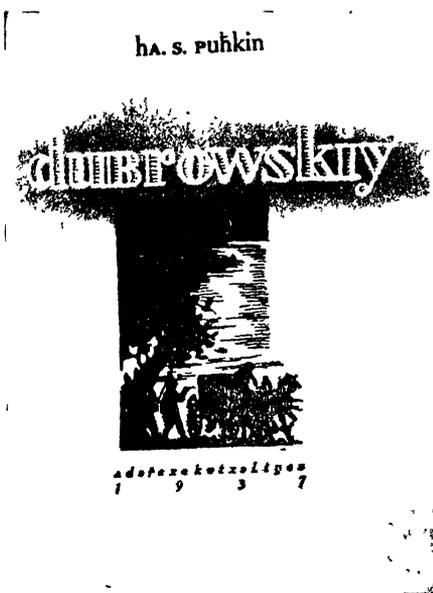
1. «Станционный смотритель», пер. Н. Терешкина, рис. Якобсон Л., 1937 (остяцкий язык) —
2. «Сказка о рыбаке и рыбке», пер. П. Е. Хатанзеева, рис. В. М. Фирсовой Л., 1948 (остяцкий язык) —
3. «Сказки», пер. П. Хатанзеева, рис. Красовского, Л., 1936 (остяцкий язык). — 4. Избранная лирика, пер. И. Е. Слепцова, Якутск, 1940 (якутский язык)



1



2



3



4

Юбилейные издания сочинений А. С. Пушкина на языках народов СССР

1. „Метель“. Ред. пер. Н. Тюркулов. М., 1937 (кара-калпакский яз.). — 2. „Сказка о рыбаке и рыбке“. Пер. Д. Петросова. М., 1936 (ассирийский яз.). — 3. „Дубровский“. Пер. М. Паранукова и М. Джанчатов. Майкоп, 1937 (адыгейский яз.). — 4. „Сказка о царе Салтане“. Пер. М. Курманалиева, худ. Г. Городецкий. Пятигорск, 1939 (ногайский яз.).